Александра Никитична Анненская

Повести и рассказы для детей

Александра Анненская

Повести и рассказы для детей

«Public Domain»

Анненская А. Н.

Повести и рассказы для детей / А. Н. Анненская — «Public Domain»,

«Мальчики на дворе одного из больших домов Москвы затеяли веселую игру. Дети, человек шесть-семь, от двенадцати до четырнадцати лет, устроили настоящее сражение снежками. Трое из них укрепились в узком коридоре, между сараем и поленницей дров, остальные старались выбить их из этой позиции. Осаждающие осыпали крепость градом снежных пуль, осажденные делали смелые вылазки, чтобы добывать доски, пустые ведра и разный хлам, которым они старались завалить входы в свою крепость. С обеих сторон слышался крик и смех, начальники обоих отрядов командовали так громогласно, что их могли бы услышать сотни подчиненных. Несмотря на довольно значительный мороз, детям было тепло от сильного движения; только руки, которыми они сгребали и бросали снег, посинели от холода…»

© Анненская А. Н.
© Public Domain

Содержание

Неудачник 5
Глава I 5
Глава II 8
Глава III 12
Глава IV 15
Глава V 18
Глава VI 21
Глава VII 25
Глава VIII 28
Глава IX 32
Глава X 37
Глава XI 41
Глава XII 45
Без роду, без племени 47
Глава I 47
Глава II 51
Глава III 57
Глава IV 64
Глава V 73
Глава VI 78
Глава VII 83
Глава VIII 89
Глава IX 94
Глава X 98
Глава XI 103
Младший брат 111
Глава I 111
Глава II 116
Глава III 120
Конец ознакомительного фрагмента. 122

Александра Анненская
Повести и рассказы для детей

Неудачник

Глава I

Мальчики на дворе одного из больших домов Москвы затеяли веселую игру. Дети, человек шесть-семь, от двенадцати до четырнадцати лет, устроили настоящее сражение снежками. Трое из них укрепились в узком коридоре, между сараем и поленницей дров, остальные старались выбить их из этой позиции. Осаждающие осыпали крепость градом снежных пуль, осажденные делали смелые вылазки, чтобы добывать доски, пустые ведра и разный хлам, которым они старались завалить входы в свою крепость. С обеих сторон слышался крик и смех, начальники обоих отрядов командовали так громогласно, что их могли бы услышать сотни подчиненных. Несмотря на довольно значительный мороз, детям было тепло от сильного движения; только руки, которыми они сгребали и бросали снег, посинели от холода.

Форточка одного из окон нижнего этажа отворилась, и из нее выглянула женская голова.

– Дети, Петя с вами? – спросил женский голос.

– Нет, мамочка, – отозвался предводитель осаждающих, красивый мальчик лет тринадцати, – он не захотел играть, вон он стоит у дверей.

Александра Петровна заглянула в ту сторону, куда указывал ее сын и действительно увидела у входа в дом мальчика, лет двенадцати, бледного, худенького, дрожавшего от холода.

– Петя, приди сейчас же домой, – недовольным тоном позвала она и, захлопнув форточку, вернулась в комнату. – Какой несносный характер у этого Пети, – обратилась она к своему мужу, Федору Павловичу Красикову, сидевшему с газетой в руках у другого окна, – ни за что не хочет играть с другими детьми; сегодня я насильно послала его, так он целый час простоял у дверей, посинел от холода, а все-таки не послушался.

В комнату несмелыми шагами вошел Петя. Это был некрасивый мальчик, с торчащими рыжеватыми волосами и бесцветными близорукими глазами. Он казался сильно озябшим; лицо его было иссине-бледно; он весь как-то ежился и прятал покрасневшие от холода руки под свою серую гимназическую блузу.

– Скажи, пожалуйста, Петя, – обратилась к нему Александра Петровна, – зачем я тебя послала во двор?

Мальчик опустил голову и молчал.

– Петя, я у тебя спрашиваю, неужели ты не можешь хоть ответить?

Молчание.

– И как же тебе не стыдно, Петя. Я тебя не браню, я с тобой говорю, как с разумным мальчиком, а ты молчишь. Неужели тебе так трудно ответить! Отчего ты не пошел играть с детьми, как я тебе велела?

Тонкие, бледные губы Пети были плотно сжаты; он продолжал засовывать руки под блузу, но видимо не намеревался отвечать.

– Упрямый мальчик! – рассердилась Александра Петровна: – с тобой нельзя обращаться, как с порядочными детьми; поди прочь, если ты не хочешь отвечать мне, так и я не буду говорить с тобой…

Петя вышел из комнаты такими же тихими шагами, как вошел в нее, осторожно припер за собой дверь и пробрался в полутемный коридор, подальше от той комнаты, где сидели Красиковы. Там топилась печка, он уселся на полу против нее и с удовольствием грел свои иззябшие руки и ноги. При красноватом свете огня лицо его потеряло свой мертвенный бледный оттенок, губы перестали упрямо сжиматься, складки между бровями разгладились, все черты лица смягчились.

Пригретый печкой, один в полутемном уголке, он почувствовал себя спокойно, хорошо, и вспомнилось ему, что так же спокойно и хорошо бывало ему давно-давно, когда он жил дома, в деревне, совсем маленьким мальчиком…

Отец его служил приказчиком в имении Федора Павловича, жалованье получал маленькое, а семья у них была большая, две сестры старше его да двое или трое детей моложе; мать должна была сама и стряпать, и стирать белье, и детей нянчить, и корову доить. Работа утомляла ее, постоянные лишения раздражали, она ворчала на мужа, бранила и била детей; в избе было тесно, душно, неуютно, постоянно раздавался то крикливый голос хозяйки, то плач или возня ребят. Пете – тихому, слабенькому мальчику – жилось плохо. Отец досадовал, что старший сын уродился у него какой-то неудалый, ладящий, мать находила, что он вечно мешает, вечно суется под ноги, старшие сестры смеялись над его близорукостью и неловкостью, младший брат, здоровенный, краснощекий буян Федюшка при всяком удобном случае старался поколотить его или вцепиться ему в волосы. Но среди этого шумного, неуютного дома был уголок, куда мог спасаться Петя, где он чувствовал себя хорошо: этим уголком была комнатка на чердаке, где жила старая, слепая тетка его отца.

В крошечной низенькой келейке старушки всегда было тихо, чисто, спокойно. В переднем углу висело несколько образов с потемнелыми от времени ликами святых и в праздники теплилась лампада; печка с лежанкой служила старухе кроватью; простой некрашеный стол, такой же стул и зеленый окованный железом сундук составляли всю меблировку. Тут-то, на этом сундуке, прижавшись спиной к тепленькой лежанке, любил сидеть маленький Петя. Бабушка не видела, какой он некрасивый, неловкий, для нее он был всегда желанным гостем, и когда она гладила своей морщинистой рукой его рыжие щетинистые волоса, когда она говорила с ним своим кротким, ласковым голосом, он забывал все огорчения, все насмешки и обиды других, он сам становился добрым, ласковым ребенком. Другие бранили его за то, что он ничего не умеет делать, а бабушка находила, что никто не умеет так ловко услужить ей, как он, никто так осторожно не сводит ее с лестницы, не проведет в церковь к местечку, где не толкают и откуда слышна служба. У старухи болели ноги, ей трудно было сходить вниз по крутой лестнице чердака, и она целые дни сидела одна в своей горенке и постоянно с какой-нибудь работой в руках: она вязала чулки, ткала из покромок сукна коврики и туфли, плела из соломы и из ивовых прутьев корзины. Все эти вещи покупали у нее проезжие торговцы и хотя они давали ей очень немного за ее труд, но она все-таки могла и платить племяннику за свое содержание, и иметь деньги на свои небольшие потребности: на масло в лампадку, на свечку перед образом, на ватную кацавеечку к зиме. Петя сначала удивлялся, как это слепая старушка может так хорошо работать, потом попробовал подражать ей и мало-помалу научился всем ее рукодельям. Увидя, что он вяжет чулок, сестры подняли его на смех, мать подумала: «Ничего из него путного не выйдет!», отец неодобрительно покачал головой.

Петя сконфузился, он старался скрывать свои работы от домашних, но когда оставался один с бабушкой и видел, как быстро мелькают в руках ее спицы чулка, как легко перебирает она пестрые полоски сукна, гибкие прутья и тонкие блестящие соломинки, ему неудержимо хотелось поработать вместе с ней, быть «совсем как бабушка». Отец рано начал учить

его грамоте: он надеялся, что слабенький мальчик окажется способным хоть к умственному труду. Петя учился прилежно, чтобы угодить отцу: он покорно исписывал крупными буквами толстые тетради серой бумаги, безропотно складывал, вычитал, умножал и делил длинные ряды цифр, а чтением скоро стал заниматься даже с удовольствием. Впрочем, те истрепанные книжки грамматики и «Землеописания», из которых отец заставлял его каждый вечер прочитывать себе по одной, по две страницы, мало привлекали его; читал он охотно только у бабушки. У старухи в сундуке нашлось несколько житий святых и какое-то старое путешествие к святым местам; эти книги, то благоговейное внимание, с каким слушала их старушка; пробудили в мальчике любовь к чтению…

Живо, точно это было только вчера, представилась ему маленькая горенка, освещенная лучом заходящего солнца; старушка сидит на сундуке с вязаньем в руках, а он на полу, у ног ее. Большая книга «Путешествия» лежит на его коленях. Он водит пальчиком по пожелтевшим страницам и медленно, запинаясь на трудных словах, читает: «И вот вдали заблестели главы церквей святого города, и наполнились глаза странников слезами радости и пали они на колена и возблагодарили Создателя…»

– Слава тебе Господи! – набожно произносит старушка.

И сердце его радостно бьется сочувствием к благочестивым путникам, достигшим, наконец, цели своего трудного пути…

– Петя, Петя!.. Да где же это он? Учитель пришел… Петя! Иди скорей! – раздались голоса.

Глава II

Медленно, неохотно поплелся Петя в классную комнату: там уже сидели за учебным столом его товарищи, сыновья Федора Павловича, тринадцатилетний Виктор и одиннадцатилетний Боря.

Все трое учились в гимназии: Виктор в третьем, а Боря и Петя – во втором классе.

– Скорей, скорей принимайтесь за дело, господа! – торопил мальчиков их репетитор, студент университета, – вы просрочили целых пять минут! Живее за работу. – Петя! А вы что такой сонный?

Петя, действительно, вяло и неохотно брался за книги. Ему трудно было сразу оторваться от воспоминаний, нахлынувших на него около теплой печки, трудно было от трогательной истории благочестивых странников сразу перейти к латинской грамматике, а между тем это было необходимо.

И в то время, как через два часа оба брата с облегченным сердцем уложили свои книги в ранцы и убежали из классной, с Петей учителю пришлось заниматься еще лишние полчаса.

Петя остался один в классной. Из столовой слышались голоса. Вся семья собиралась пить чай, мальчик устал затверживать латинские спряжения, немецкие слова и трудные названия незнакомых городов, а тут еще учить такое трудное стихотворение! Он прочел его раз, два, попытался вспомнить, ведь это старое, он его хорошо знал три месяца тому назад, нет, не помнит ни строчки, надо долбить как новое. Ему и трудно, и досадно, усталая голова отказывается работать, и он путает строчки, перевирает слова.

– Что, Петя, ты все еще долбишь? – раздается около него веселый голос Виктора. – Брось, брат, иди чай пить, мы уж отпили, перед сном еще раз прочтешь!

– Да я еще ничего не знаю! – с отчаянием вскричал Петя.

– Эка важность! Может, тебя завтра и не вызовут.

– Может, и вправду не спросят! – утешал себя Петя, закрывая книгу и следуя за Виктором в столовую.

Вся семья еще сидела за чайным столом и перед Петиным прибором стоял большой стакан чаю с молоком и булкой.

– Вот видишь ли, Петя, – начала Александра Петровна, едва мальчик сел на место, – как дурно не слушаться. Ты не хочешь гулять, играть с детьми, оттого тебе и учиться так трудно. Неужели приятно сидеть целый вечер над книгами, а в гимназии все получать единицы да двойки? Ну, скажи мне: сознаешь ли ты, что поступаешь нехорошо. Постараешься ли исправиться? Да не молчи же опять, ответь мне!

– Постараюсь! – проговорил Петя, чувствуя, что от допросов Александры Петровны куски останавливаются у него в горле.

– И отчего это ты всегда такой дикий, необщительный? – продолжала она, видя, что мальчик торопится допивать свой чай, чтобы улизнуть от нее. – С детьми ты не играешь, со мной не хочешь быть откровенным. Кажется, я всегда добра к тебе, забочусь о тебе, а ты? Четвертый год живешь у нас и все чуждаешься нас. Отчего это?

Петя опустил голову, и слезы навернулись на глаза его, но он не мог ни лаской, ни искренним ответом отозваться на вопросы Александры Петровны.

Она несколько секунд молча смотрела на него, ожидая от него какого-нибудь слова, какого-нибудь проявления чувства, но видя, что эти ожидания напрасны, проговорила строгим тоном.

– Иди спать! Дети уже в спальне.

Петя с тяжелым сердцем вышел из столовой.

В спальне Витя и Боря затеяли перед сном ожесточенную борьбу друг с другом. Петя никогда не принимал участия в таких забавах: он знал, что был очень слабосилен, и это делало его робким. Тихонько пробрался он к своей постели, поспешно разделся, закутался в одеяло и притворился спящим. На самом деле он долго не мог уснуть. Витя и Боря перешли от драки к громкому смеху, потом к смирному разговору и наконец оба крепко заснули, а он все лежал, отвернувшись к стене, с широко открытыми глазами. Вопрос Александры Петровны заставил его задуматься. Он чувствовал, что она была права. В самом деле, больше трех лет живет он в доме Красиковых, никто его не обижает и все-таки он не может не чувствовать себя чужим, не может держаться совершенно свободно и непринужденно. Теперь еще немного лучше, а первое время жизни в Москве, как он стеснялся, как всех и всего боялся! Он вспомнил, как там, дома, в деревне ему стало страшно, когда заговорили, что на лето господа приедут в свое имение.

Обыкновенно Красиковы проводили лето где-нибудь на даче в окрестностях Москвы, а тут им вздумалось для разнообразия пожить месяца три в своем Медвежьем Логе. В имении поднялась суматоха: старый дом, стоявший заколоченным, начали мыть, чистить, проветривать, протапливать: ветхую мебель выколачивали, подклеивали, подштопывали, покрывали лаком. В саду, давно заросшем крапивой и бурьяном, появились дорожки, усыпанные песком, клумбы красивых цветов, аллеи подстриженных лип и акаций. Управляющий бегал, суетился и кричал до хрипоты с утра до вечера, скотница вдруг вспомнила, что надо беречь барское молоко и масло, птичница пересчитывала по десяти раз в день цыплят, утят и индюшат. Петин отец стал переписывать прошлогодние счетные книги.

Все эти приготовления, вся эта суета не могли не производить впечатления на тихого, робкого восьмилетнего мальчика. В воображении Пети господа представлялись какими-то особенными высшими существами, и он с замиранием сердца ожидал их появления. И вот они приехали: отец, мать, гувернантка и двое мальчиков, семи и девяти лет. По-видимому, в них не было ничего страшного. Федор Павлович и Александра Петровна никого не бранили, ни на кого не кричали, со всеми говорили вежливо, даже к одноглазому работнику Федоту обращались не иначе как на «вы»; дети бегали по саду и по двору, кричали, смеялись, играли, как всякие другие дети; гувернантка была так тиха и молчалива, что почти никто не слышал ее голоса. Кажется, чего бы бояться – люди самые обыкновенные, а между тем не только маленький Петя, но и все старшие признавали, что эти обыкновенные люди совсем не то, что простые жители Медвежьего Лога. Вставали они не с восходом солнца, а почти перед обедом, ели совсем особенные, никому неизвестные кушанья, которые готовил для них московский повар, одевались в платья особого покроя, целый день сидели они или в комнатах, или в саду; разве вечером перед закатом солнца выходили погулять в поле. Александра Петровна боялась и собак, и коров, и свиней, и гусей, гувернантка взвизгивала при виде лягушки, дети не смели подходить к лошадям, есть сырые яблоки, купаться в мелкой грязноватой речке.

Петя вместе с младшим братом и другими деревенскими мальчиками подсматривал в щели забора, как господа пьют чай в саду, издали следовал за ними, когда они выходили гулять в поле; он в то время и не подозревал, что ему самому придется жить этой барской жизнью, которая представлялась ему такой чудной. А между тем в конце лета, когда начались дожди, Федор Павлович стал от нечего делать часто заходить в контору. Порядок, аккуратность и смиренный вид Ивана Антоновича понравились ему, он разговорился с ним; узнал; какая у него большая семья, как ему трудно живется и решил, чем-нибудь помочь ему. Александра Петровна еще раньше обратила внимание на худенького, бледного мальчика, который так заботливо водил в церковь слепую старушку. Посоветовавшись друг с другом, Красиковы предложили конторщику взять с собой в Москву его старшего сына, держать его наравне со своими детьми, определить в гимназию, сделать из него образованного человека, который впоследствии мог бы служить поддержкой всей семье. Это предложение привело в

неописанный восторг и Ивана Антоновича, и всю его семью. Слабосильный, неловкий Петя не годился для трудовой деревенской жизни, а в городе из него, может быть, сделают человека! Он будет жить с господами, есть за их столом, учиться всем наукам, каким обучают господских детей!

– Вот уж правда говорят: «Не родись ни пригож, ни умен, да родись счастлив!» – повторял Иван Антонович, радостно поглядывая на сына.

– Это ему за тихость да за смиренство Господь Бог посылает! – говорила Агафья Андреевна, нежно лаская сына.

Сестры перестали смеяться над Петей. Они ласково заговаривали с ним, просили его не забывать их, написать им, как люди живут в Москве, при случае прислать гостинцев. Шестилетний Федюшка несколько раз принимался реветь во все горло: «Не надо Петю! Я хочу в Москву!»

Даже старая бабушка и та, казалось, радовалась перемене в судьбе любимого внука.

– Слава тебе Господи! – набожно перекрестилась она, услышав о предложении господ: – услышал Бог мои грешные молитвы, Петенька мальчик добрый, разумный, его только на дорогу вывести, а здесь какая ему жизнь, совсем пропадет!

Видя как довольны все окружающие, Петя чувствовал, что ему следует радоваться, а между тем в душе его было гораздо больше страха и тоски, чем радости. В день отъезда, когда настала минута прощанья с родными, страшная тоска вдруг овладела им. Он спрятался за высокую кровать матери, уцепился за нее руками и, дрожа всем телом, судорожно рыдая, повторял: «Не надо, не хочу, не поеду!» Агафье Андреевне пришлось силой оторвать его руки от кровати, накинуть на него пальто и шляпу, присланные барыней, и почти снести его в экипаж. Очутившись в большом тарантасе, среди господ, поняв, что всякое сопротивление невозможно, Петя впал в какое-то оцепенение. Сухими, безучастными глазами смотрел он на родных, собравшихся проводить его, не заметил как лошади тронулись, как промелькнули мимо экипажа знакомые избы деревни, речка; церковь, роща. Александра Петровна что-то спрашивала у него, дети о чем-то заговаривали с ним, он ничего не понимал, ни на что не отвечал. Когда он очнулся от этого оцепенения, родное село, знакомые места давно исчезли из глаз, вокруг него все было новое, чужое: и дорога, по которой быстро катился экипаж, и люди, сидевшие вместе с ним в этом экипаже. На него никто не обращал внимания. Федор Павлович дремал, прислонясь к углу тарантаса, Александра Петровна о чем-то оживленно разговаривала с гувернанткой на незнакомом ему языке, Витя и Боря вспоминали, какие игрушки оставили на городской квартире.

Чувство одиночества в первый раз охватило мальчика; он понял, что очутился среди совсем чужих людей, у которых свои собственные дела и заботы, свои собственные радости и горести, недоступные ему. Это чувство не покидало его во все время пути и еще усилилось, когда из экипажа вся семья пересела в вагоны железной дороги, и поезд с шумом и свистом помчался по рельсам. Петя никогда прежде не видел железной дороги, не имел о ней никакого понятия; и шум локомотива, и клубы дыма, и быстрое движение, и «комнаты на колесах», – как он мысленно называл вагоны – все пугало его, все приводило в недоумение. Он не мог удержаться от восклицания ужаса и удивления. В ответ на это Витя с Борей громко расхохотались, а Александра Петровна и гувернантка посмотрели со снисходительной улыбкой на деревенского мальчика. Пете стало стыдно и обидно; он замолчал и постарался не выказывать больше своих чувств.

В Москве он очутился среди массы незнакомых предметов и лиц; ему пришлось привыкать к совершенно новой обстановке, к новому строю жизни. Он окончательно растерялся. Из застенчивости, из боязни насмешек, он не решался делать вопросов, высказывать удивления. Он на все смотрел, все принимал холодно, безучастно, а между тем чувство отчужденности, сиротливости сильно давило его. И часто, улегшись спать в просторной, светлой

детской, он подолгу рыдал, уткнувшись в мягкую пуховую подушку, и страстно хотелось ему перенестись в свою тесную, душную хату, на жесткий войлок, служивший ему постелью в родном доме.

А между тем никто у Красиковых не делал ему никакого зла. Правда, Витя и Боря смотрели на него несколько свысока, так как он был слабее их и не понимал многого из того, что они знали, но и мать и гувернантка строго следили за тем, чтобы они не обижали его; он и ел, и спал, и учился вместе с ними; был одет так же, как они, и пользовался одинаковыми с ними удовольствиями.

«А все-таки я им чужой», – думалось ему, пока он ворочался в постели, стараясь найти ответ на вопрос Александры Петровны. – «Они держат меня так, из жалости, а умри я сегодня ночью, они наверно пожалеют обо мне меньше, чем жалели в прошлом году о своей моське. Она говорит, я их чуждаюсь. Ну, так что же? Это правда! Только разве я виноват? Я для них лишний, чужой, ну, и они для меня чужие…»

И с этим тяжелым чувством наконец заснул бедный мальчик.

Глава III

В гимназии Петя чувствовал себя еще хуже, чем дома. По приезде в Москву он первый год учился у гувернантки, которая занималась с маленьким Борей, и весьма удовлетворительно выдержал вступительный экзамен в первый класс гимназии. Но, очутившись среди тридцати шумных, крикливых, шаловливых мальчиков, он совсем растерялся. Он плохо понимал, что объясняли учителя, по близорукости не разбирал того, что писали на большой классной доске, часто совсем не знал, какие уроки заданы к следующему дню и из застенчивости не решался обращаться с вопросами к товарищам. Его журнал пестрел единицами и двойками, и он остался на второй год в первом классе. Когда Боря поступил в гимназию, ему стало несколько лучше. Боря от природы очень способный мальчик, отлично подготовленный дома, сразу сделался одним из первых учеников и не прочь был несколько помогать менее счастливому товарищу. Кроме того Красиковы взяли репетитора – главным образом для Вити, просидевшего два года во втором классе – и с его помощью Петя стал проникать в таинства латинской грамматики, казавшейся ему сначала какой-то неудобопонятной премудростью. Он благополучно перешел во второй класс, но тут дело пошло опять плохо. Каждый день приходилось ему заучивать три-четыре больших урока и заучивать наспех, торопясь; он соображал довольно медленно и не отличался очень хорошей памятью, так что должен был просиживать за уроками вдвое дольше, чем Боря, и все-таки получал мало удовлетворительные отметки. Когда учитель вызывал его, он робел, конфузился, говорил нетвердым, нерешительным голосом, часто даже просто забывал все, что вытвердил накануне. Товарищи смеялись над ним за эту робость и прозвали его «зайцем», а он не умел ни ответить шуткой на их насмешки, ни заставить их замолчать силой, как советовал ему Витя; он все больше робел, все больше чуждался, сторонился всех.

Иногда он не прочь был побегать, поиграть с другими детьми; но они обыкновенно придумывали игры, требующие большой ловкости и проворства. Когда надо было разделяться для игры на партии, каждая сторона неизбежно кричала: «Зайца берите себе! Зайца нам не надо. Он не умеет бегать! Он поддается».

И если какой-нибудь великодушный предводитель соглашался принять его в свой отряд, Петя ясно видел, что это делается только из жалости; ему было больно и обидно; он отходил от играющих и прятался в какой-нибудь уголок, где никто его не видел, никто не трогал, никто не смеялся над ним.

С наступлением весны в классной комнате Красиковых начались усиленные занятия: экзамены имели в этом году особенно важное значение для всех трех мальчиков: Боря с Рождества считался первым по классу и непременно хотел удержать за собой это место, хотя у него было два очень сильных соперника; Витя и Петя уже сидели по два года в классе и им грозило исключение из заведения, если они «срежутся» и не перейдут в следующий класс.

Экзамены предстояли для всех трех мальчиков исключительно письменные: из арифметики, из языков; для Бори и для Пети из русского, латинского и немецкого, а для Виктора кроме того из греческого.

Восемнадцатого мая назначен был первый экзамен во втором классе по русскому языку. Боря и Петя оба сильно волновались. Боря старался бодриться, Петя дрожал как в лихорадке. На его счастье русский учитель несколько опоздал; усевшись на свое обычное место в классе, приготовляя бумагу и перо, бедный мальчик успел немного успокоиться. Экзаменационная задача состояла в письменной передаче своими словами известного стихотворения Майкова: «Кто он?». Петя учил это стихотворение в классе и довольно твердо помнил его. Он не пытался, как сделал Боря и другие лучшие ученики, прибавлять к стихотворению свои объяснения и дополнения, а просто каждый куплет стихов написал про-

зой. Это было не трудно, и ему удалось избежать грубых орфографических ошибок и даже довольно верно расставить знаки препинания. Он кончил работу почти в одно время с Борей и мог вместе с ним идти домой.

– Ну, что? Как сошло? Что вам было задано? – встретил их Витя в передней.

– Очень легкое! – отозвался Боря. – Я написал полтора листа. Не знаю, кажется, вышло порядочно.

И он поспешил в свою комнату, чтобы прочесть брату черновую своего рассказа.

– Молодец Борька! Как славно! – подхватил Виктор. – Целое сочинение написал вместо переложения! Наверно получишь пять! Счастливец!

Прослушав чтение Бори, Петя приуныл. «Вот что значит писать переложения», – вздыхал он. – «А у меня что? Совсем коротко, гадко! Больше единицы или двойки не поставят!»

На следующий день Витя вернулся с своего экзамена очень рано; он вбежал в комнату радостный, оживленный.

– Ничего, кажется, сошло, – вскричал он, подбрасывая к потолку свою фуражку. – Задано было сочинение «Приближение весны». Я знал, что в третьем классе всегда задают что-нибудь о весне или о лете, или о зиме, или о каникулах, или о праздниках. Я обо всем этом и писал у Константина Николаевича. У меня было написано просто «весна», а тут задали «приближение весны»; я взял да везде и вставил «начинает» «становится». Ловко вышло!

Прослушав его сочинение и Боря, и Петя должны были сознаться, что действительно вышло ловко и очень недурно.

На следующий экзамен все три мальчика пошли вместе. У Бори и Пети был немецкий язык, у Вити – греческий. Этих экзаменов никто из них особенно не боялся. Из немецкого во втором классе пройдено было очень мало и учитель заранее предупредил, на какие важнейшие грамматические правила будет диктовать фразы; учитель греческого языка был вообще человек добродушный, на экзаменах всегда старался помогать своим ученикам.

Вот учитель математики был не такой. Он был грозой четырех младших классов гимназии. Его нельзя было ни задобрить, ни заговорить, он от всех равно требовал точности и быстроты в ответах, правильности и аккуратности при исполнении письменных работ.

Задача, заданная второму классу, была довольно сложная и замысловатая. Даже Боря не мог сразу придумать, как ее разрешить, и испортил лист бумаги, прежде чем напал на правильный ход действия.

Петя же окончательно растерялся и никак не мог придумать даже с чего начать. Первые ученики уже отдали свои листы учителю и вышли из класса, а у него не было написано ни одной цифры. Боря заметил его отчаянное положение и проходя мимо шепнул: «Помножь версты и сажени на 7 … решение – 18». Еще кто-то из добрых товарищей подсказал ему следующий шаг к решению, а дальше он был предоставлен собственному соображению. Но, увы! Этого соображения хватило у него только на то, чтобы целым рядом делений, умножений, вычитаний и сложений добиться числа 18, подсказанного ему Борей, когда же пришлось писать объяснение к задаче, он никак не мог отдать себе отчета почему в данном случае производил то, а не другое действие. Придя домой, он рассказал Вите и Боре, как разрешил задачу и они пришли в ужас.

– Да ты просто осел! – бесцеремонно заявил Виктор. – С какой же стати ты помножил на 2, потом разделил на 9, когда тебе надо было просто разделить на 4. И откуда 9? Ведь этого числа нет в задаче?..

– Да я чтобы вышло 18, – со слезами на глазах отвечал Петя.

– Ах, какой ты глупый! Да кто же так задачи делает? Чтобы вышло 18!

Петя и сам понимал, что поступил глупо. Всего неприятнее было то, что и задача-то оказалась совсем не особенно трудной для него. Вечером, когда Витя и Боря заснули, он

тихонько встал с постели, зажег свечу, внимательно прочел задачу, подумал минуты две, и весь ход действий представился ему вполне ясно. Не прошло и получаса, как он без малейшей запинки и помарки проделал всю задачу от начала до конца.

«И отчего это я утром не мог так же придумать – вздыхал бедный мальчик, опять улегшись в постель. – Какой я в самом деле глупый и несчастный!»

Латинский экзамен должен был решить судьбу Пети. Он ни день, ни ночь не расставался с латинской книгой и выдолбил что называется «на зубок» всю грамматику. Но ах! Когда вечером, накануне экзамена, Боря продиктовал ему несколько фраз для перевода на латинский язык, у него оказалась масса ошибок: он знал правила, но совершенно не умел применять их.

«Не стоит учиться, я все равно завтра ничего не напишу!» – с отчаянием думал он, бросая книгу.

С тем же отчаянием пошел он на другой день в гимназию, с тем же отчаянием принялся за перевод русского текста, продиктованного учителем. Он писал почти машинально, без особенного старания. «Не все ли равно?» – вертелось у него в голове, – «Я глупый, неспособный, сколько я ни старайся, все равно я не могу писать без ошибок!»

Когда, вернувшись домой, Боря стал вместе с Виктором обсуждать и проверять свой перевод, он не принимал участия в их разговоре, не вспоминал, как сам составил фразы, какие употребил обороты речи. После усиленных занятий перед экзаменом и волнений во время самых экзаменов, на него напала какая-то слабость, какое-то равнодушие ко всему. Даже мысль, что он, может быть, не выдержал экзамена, перестала пугать и огорчать его.

– Не знаю, может быть, выдержал, а, может быть, не выдержал! Мне все равно! – как-то тупо отвечал он на вопросы Александры Петровны, на приставанья мальчиков.

– Экий дурак! – повторяли Витя и Боря.

– Он в самом деле нестерпимо глуп, – возмущалась Александра Петровна. – Можно сказать: судьба всей его жизни решается, а он вдруг: «Мне все равно!»

Глава IV

Мальчикам не объявляли, какие отметки они получили на экзамене раньше торжественного публичного акта. На этом акте, в присутствии почетных лиц города и родителей воспитанников, раздавали награды наиболее успевшим и читали список учеников, перешедших в следующий класс. Федор Павлович и Александра Петровна пошли на акт вместе с детьми и волновались почти так же, как они. Витя старался придать себе бодрый вид и по дороге в гимназию нарочно заводил веселые разговоры, но его смех и болтовня выходили какими-то неестественными, принужденными. Боря хмурился и сердито замечал брату, что теперь не до глупостей; Петя казался всех спокойнее; равнодушие, охватившее его перед латинским экзаменом, не оставляло его до сих пор. Вместо того, чтобы думать о «решении судьбы всей своей жизни», – как говорила Александра Петровна, – он беспрестанно ловил себя на каких-то глупых мыслях в роде того, что: «Вон маляры забрызгали забор белой краской», «Песочный переулок, верно прежде тут было много песку»…

Акт начался молитвой, которую пропел хор гимназистов; затем учитель русского языка сказал очень длинную речь, которую почти никто не слушал, и наконец секретарь стал читать то, что всех особенно интересовало, список воспитанников, удостоенных награды и перевода в следующий класс.

Виктор Красиков был переведен в четвертый класс; Борис Красиков перешел в третий класс первым и получил первую награду – книгу и похвальный отзыв.

Александра Петровна заплакала от радости. И она и Федор Павлович обнимали своих детей и поздравляли их, особенно Борю, с успехом. Среди семейной радости они почти забыли о Пете. Увы, его было не с чем поздравлять! Оказалось, что Петр Никифоров получил на экзамене два по латинскому языку и единицу по арифметики, он не только не перешел в следующий класс, но даже лишен был права переэкзаменовки.

Счастливые и довольные возвращались Красиковы домой. Виктор подпрыгивал от радости, что противные экзамены свалились с плеч и отъезд на дачу назначен на послезавтра; Борис старался сохранить скромный вид, но глаза его светились гордой радостью всякий раз, как он взглядывал на полученную в награду изящно переплетенную книгу.

Уныло плелся Петя сзади них. «Не перевели… не дали переэкзаменовки… выключат»… Несколько раз в течение зимы и во время приготовлений к экзамену представлялась ему возможность этого несчастия, но он отгонял мысль о нем, как слишком ужасную. И вот это ужасное обрушилось на него! Он с каким-то недоумением оглядывался вокруг. Как странно. На улице все то же, что было утром, ничто не переменилось… Тот же Песочный переулок, тот же толстый купец у дверей своего магазина, тот же забрызганный краской забор… И солнце светит так же ярко, и прохожие барыни о чем-то смеются… Все так же, как было утром! А он? Может быть, и он остался тем же? Нет. Какая-то страшная тяжесть давит ему на грудь и на голову; тогда он был такой, как все люди, он мог и говорить, и думать как все, а теперь он не такой, он несчастный, страшно несчастный!

Весь этот день был торжеством для Бори. Родные и знакомые, зашедшие к Красиковым после акта, хвалили его, поздравляли Федора Павловича и Александру Петровну с таким примерным сыном, за обедом пили его здоровье, после обеда Федор Павлович повел его и Витю по магазинам, чтобы они выбрали себе по какой-нибудь вещи на память об этом радостном дне. Петя был доволен, что никто с ним не заговаривает, никто не обращает на него внимания. Вечером, когда собрались товарищи Вити и Бори, чтобы вместе попраздновать и распрощаться на лето, он ушел в темную шкафную комнату и спрятался там. Страшная тяжесть продолжала давить его, он не хотел никого видеть, ни с кем говорить.

Между тем Федор Павлович и Александра Петровна, запершись в кабинете, совещались о том, что с ним делать.

– Какая обуза чужие дети! – ворчал Федор Павлович. – Куда мы его денем? Он, очевидно, тупица, совсем не способен к ученью!

– Не попробовать ли отдать его в реальное училище, – посоветовала Александра Петровна, – там курс легче, чем в гимназии.

– Помилуй, у него по арифметики единица, а в реальном училище главный предмет математика.

– Ну, в какое-нибудь ремесленное? В какую-нибудь земледельческую школу?

– Право не знаю! Он такой слабый, тщедушный, земледельческих работ он не сможет делать! Да и ремесла? В училищах учат слесарному и столярному, какой из него выйдет работник, ему и молотка не поднять!

– Надо спросить его самого, – предложила Александра Петровна, – ведь он не маленький, ему уж тринадцать лет! Может быть у него и есть призвание к чему-нибудь.

Петю с трудом разыскали и позвали в кабинет.

– Ну, брат Петр, – серьезно, почти строго, заговорил Федор Павлович, – тебя, ты знаешь, выключают из гимназии. Скажи пожалуйста, что же ты намерен делать?

Петя опустил голову.

– Не знаю-с, – чуть слышно проговорил он.

– Не знаю-с! – передразнил его Федор Павлович, – это братец не ответ! Ты ведь должен был это предвидеть! О чем же ты думал, когда получал единицы да двойки? Если бы я был твой отец, – продолжал Федор Павлович, видя, что от мальчика не добиться ответа, – я, может быть, сам распорядился бы твоей судьбой, но теперь я не могу; пожалуй, потом и ты, и твоя семья, вы будете упрекать меня. В гимназии учиться ты не можешь, ну, куда же мне тебя устроить, куда ты хочешь поступить?

– Я хочу домой! – вдруг вырвалось у Пети совершенно неожиданно для него самого.

– Домой! – вскричала Александра Петровна. – Что ты, Петя, как это можно! Что ты будешь делать дома?

Федор Павлович иначе отнесся к словам мальчика: они показали ему средство избавиться от тяжелой заботы о чужом ребенке.

– Нет, что ж? – сказал он, – пожалуй, ему в самом деле всего лучше съездить домой. Пусть там поговорит, посоветуется с отцом! Если надумают отдать его в какое-нибудь учебное заведение, я не прочь похлопотать и заплатить, что нужно! Ты это дельно придумал, Петя, отдохни летом в деревне, обдумай серьезно свое положение, а там увидим!

– Благодарю вас, – чуть слышно проговорил Петя. Бледное лицо его вдруг оживилось, луч радости блеснул в его обыкновенно тусклых глазах, и он почти выбежал из кабинета.

– Каков неблагодарный мальчишка! – вскричала Александра Петровна, едва дверь за ним затворилась: – мы о нем заботились, держали его как родного сына, а он рад первому случаю уехать от нас! Домой! Хорош у него дом, нечего сказать! Если ему лучше в деревне, в его курной избе, пусть там и живет, не стоит заботиться о нем и брать его опять осенью к себе.

– Как волка ни корми, он все в лес глядит. Я, по правде сказать, очень рад, что мы избавились от него! Я лучше готов помочь отцу его деньгами, только бы не возиться опять с мальчиком, не пристраивать его куда-нибудь.

Петя вернулся в свой темный угол. Странное дело! Тяжесть, давившая его все утро, вдруг исчезла. Домой! У него ведь есть свой дом! Сердце его радостно билось. Все, что было неприятного и тяжелого в домашней жизни, в эту минуту вылетело из головы его, он чувствовал одно только, что не для всех на свете он чужой, что у него есть близкие, есть люди, которых он любит и которые любят его!

Отец, мать, братья и сестры, как живые, стояли перед ним, и как дороги, как милы казались ему все они, даже маленькая сестренка Феня, которая в былое время так надоедала ему своим неумолкаемым криком и писком!

«Теперь она уже большая, по пятому году, – думал мальчик, – все говорит, бегает, меня и не узнает. А бабушка? Добрая, милая бабушка! Один часок посидеть с ней, в ее чистой, тихой комнате, уж и это какое счастье!..»

На другой день после акта у Красиковых начались приготовления к переезду на дачу. Вещи, которые оставались на зимней квартире, надо было убрать, другие уложить для перевозки в ящики и сундуки. Все домашние, не исключая и детей, были заняты, и среди этой общей суматохи никто не заметил, как Петя уложил свой маленький чемоданчик. На следующее утро Федор Павлович подробно объяснил ему, на какой станции он должен оставить железную дорогу, как и где нанять лошадей до деревни, дал ему денег на дорогу и письмо к отцу его, но не обещал ему ничего определенного на осень. Александра Петровна простилась с ним очень сухо: ее до глубины души оскорбляло «бессердечие» и «неблагодарность» мальчика, который так спокойно, с таким легким сердцем готовился оставить ее дом. Виктор и Борис отнеслись совершенно равнодушно к отъезду товарища: они были вполне поглощены сборами к переезду на дачу, мечтали о летних удовольствиях и ни о чем другом не думали.

– Ну, прощай, Зайка, – как-то торопливо сказал Виктор. – Что, вернешься осенью?

– Не знаю, – проговорил Петя, холодно отвечая на холодное рукопожатие.

Глава V

Прошло почти четыре года с тех пор, как Петя в первый раз ехал по железной дороге. И вот он опять в вагоне, опять поезд, свистя и пыхтя, уносит его, опять кругом много чужих лиц и опять, как тогда, среди всего этого шума, всей этой толпы, он чувствует себя одиноким, совсем одиноким. Он с невольной грустью вспоминает, как сухо, холодно было его прощанье с Красиковыми.

– Нет, я не вернусь к ним осенью, – думается ему. – Зачем мне быть им в тягость? Они, кажется, очень рады, что избавились от меня, да это и понятно, что я им? Совсем чужой, лишний человек в доме. Никто из них меня не любит, никто не пожалеет. Останусь дома, с отцом, с бабушкой… – И снова лица своих, домашних, окружили его, и тепло стало ему на сердце. – Что-то они скажут, как я приеду? Обрадуются ли? – спрашивал он самого себя.

И живо вспомнились ему последние дни перед отъездом из деревни, радостная надежда, с какой смотрел на него отец, просьбы матери не забывать в счастье родную семью… Отпуская его из дома, они рассчитывали, что он станет помощником, поддержкой для всей сёмьи, и вот он возвращается – но с чем?

За эти четыре года он ничему не выучился, он, как прежде, ничего не умеет делать; мало того, для него закрыта даже возможность учиться, стать образованным человеком; он исключен из гимназии за неспособность…

Краска стыда залила при этой мысли бледное лицо мальчика, сердце его болезненно сжалось, вся та радость, с какой он приближался к родному дому, вмиг исчезла.

«Как его встретят? Что ему скажут? И что сам он скажет? Как объяснит свою неудачу?» Эти мучительные вопросы преследовали его всю дорогу, не давали ему уснуть ночью, мешали наслаждаться давно невиданными красотами зеленых полей, пестрых лугов, тенистого леса.

Чем ближе подъезжал Петя к родному селу, тем сильнее билось сердце его. Вот роща, куда он, бывало, в детстве ходил за грибами и за ягодами, вот речка, в которой он купался, выбирая те минуты, когда там не было деревенских шалунов, которые брызгали на него, «топили» его. Вот и село… Какие все маленькие, ветхие домики. Прежде они были как будто побольше и покрасивее. Ямщик подогнал своих тощих клячонок, и они довольно бодро подкатили тележку к крыльцу избы Ивана Антоновича.

Агафья Андреевна, стиравшая белье перед домом, первая заметила подъехавшего.

– Матушки-светы! Что такое? Кажись Петенька? – вскричала она, вглядываясь в мальчика, неловко вылезавшего из телеги. – Он и есть! Вот не ждали, не гадали! Здравствуй, родимый! – Она осторожно поцеловала сына, чтобы не забрызгать его мыльной пеной, которой были покрыты ее руки и длинный холстинный передник. – Подрос. Большой стал. А все такой же худой да бледный, как был. Что же, один приехал своих повидать? Господа не будут ли к нам?

– Нет, не будут! – пролепетал Петя, – от волнения он с трудом мог ворочать языком.

На встречу приезжему выскочил из избы Федюшка, рослый, краснощекий десятилетний мальчуган, с загорелым лицом и задорными серыми глазами, а за ним трое младших детей: двух из них, рыжеволосого Ваню и белоголовую Феню, Петя с трудом узнал, третий, толстенький Антоша, родился без него, два года тому назад. Они с недоумением, засунув палец в рот, смотрели на незнакомого старшего брата, и Антоша собирался приветствовать его громким ревом. В избе, куда Агафья Андреевна ввела мальчика, и куда Федюшка по приказанию матери втащил его чемоданчик и подушку, он увидел двух совсем взрослых и довольно красивых девушек, своих старших сестер. Они поцеловали его, вытерев предварительно губы передником, и заметили так же, как мать:

– Какой он тонкий, худой… Не поздоровел в Москве. Из конторы чуть не бегом вошел в горницу Иван Антонович.

– Здравствуй, здравствуй, сынок!.. – И он обнял мальчика, но на лице его видно было больше тревоги, чем радости.

– Как это ты так вдруг надумался к нам? И не написал ничего. Погостить, что ли, на лето господа отпустили? Все ли у тебя благополучно? Не прогневал ли ты чем-нибудь Федора Павловича?..

– Нет, кажется… ничего… он вам… письмо…

Петя дрожащей рукой вынул из кармана и подал отцу письмо Федора Павловича. Иван Антонович надел очки и подошел к окну, чтобы разобрать послание своего хозяина. С первых же строк лицо его омрачилось, и чем дальше он читал, тем сумрачнее становилось оно.

– Ты говоришь: ничего!.. Нет, тут не «ничего», – сердито обратился он к Пете, который от волнения не мог стоять на ногах и опустился на скамью, понурив голову. – Тут написано, что ты «оказался неспособен к наукам», за тебя платили учителям, тебя всему обучали наравне с господскими детьми, а ты учился плохо, экзамена не выдержал и тебя исключили из гимназии. Тебя вовсе не погостить прислали к нам!.. Федор Павлович прямо пишет: «не могу ничего для него сделать». Этаким благодетелям и не сумел ты угодить!

– Дураком он родился, дураком и остался! – полуслезливым, полубранчивым голосом закричала Агафья Андреевна. – Я всегда говорила, что из него толку не выйдет. Истинно божеское наказание. Негодный мальчишка! О нем заботились, его обучали, а он, – изволите видеть – «не способен». Этакий срам. Выгнали. Прямо сказать, выгнали и из училища, и из господского дома. И чего ты сюда приехал, дурень этакий? Мало тут без тебя ртов? Кабы в твоей глупой голове капля ума была, ты бы в ногах у господ валялся, молил их, чтобы не отсылали тебя от себя. Не годился ты учиться, ты хоть бы старался услужить господам, чтобы они не оставили тебя своими милостями. А то обрадовался. К отцу на шею приехал! Гость дорогой!

Долго кричала Агафья Андреевна. Петя сидел молча, в каком-то оцепенении. Точно сквозь сон слышал он брань матери, слышал, как сестры переговаривались между собой: «Значит, совсем приехал. Выгнали. Экий стыд. Все будут спрашивать. Что скажешь?..» Слышал, как Федюшка скакал на одной ножке и дразнил его языком, приговаривая: «Выгнали! Из Москвы выгнали! Ай да московский барин! А меня никто не выгонял! И никто никогда не выгонит!»

Иван Антонович стоял, прислонясь к косяку окна, мрачно нахмурив брови. Он посмотрел на Петю, но у него не хватило духу высказать и от себя упрек мальчику. Он сидел такой безответный, унылый, измученный. Четыре года прожил он в чужом городе, среди чужих людей; может, за все это время ни от кого не видел ласки, вот теперь приехал в родной дом со своим горем, и никто не пожалел его, не сказал ему доброго слова.

– Ты еще не видел бабушки, сходи к ней! – сказал он сыну, и в голосе его звучала ласка.

– Ну, еще бы! Опять будет целые дни со старухой сидеть да чулки вязать! – заворчала Агафья Андреевна, – он только это и умеет.

Петя хорошо помнил дорогу в светелку бабушки, но Федя счел почему-то нужным проводить его. Он перегнал его на крутой лестнице, быстро распахнул дверь в комнатку старушки, прокричал:

– Бабушка! Вон Петя приехал! Его выгнали из гимназии и от господ выгнали, он насовсем к нам приехал.

И затем кубарем скатился вниз.

Петя вошел в светелку. Она казалась еще меньше, чем прежде, так как теперь чуть не половину ее занимала большая низкая деревянная кровать: у старушки с зимы отнялись

ноги, и она не сходила с этой кровати ни днем, ни ночью. При словах Феди, при звуке шагов любимого внука она приподнялась и протянула вперед руки.

– Петя, голубчик, родименький… – проговорила она слабым, дребезжавшим голосом.

Оцепенение Пети вдруг исчезло. Он бросился к кровати, упал перед ней на колени и прижался лицом к морщинистой руке старушки. Она другой рукой гладила его торчащие рыжеватые волосы и тихо шептала:

– Слава тебе Господи! Сподобил Господь Бог еще раз увидать мое сокровище!

А слезы катились по щекам ее и падали на голову Пети, и сердце мальчика смягчилось и чувствовал он, что здесь, по крайней мере, он не одинок, он не лишний, не чужой!..

Глава VI

Долго бранилась и ворчала Агафья Андреевна, досталось от нее не только Пете, но и Ивану Антоновичу, который зря позволил увезти ребенка, ни о чем не договорившись с господами, и господам, которые подержали, подержали дитё, а как надоело, так и выгнали, точно щенка какого, и Федюшке, который сам дурак, а над братом смеется, и Антошке, который не кстати подвернулся под руку… Сорвав, что называется, сердце, она успокоилась и смягчилась к виновному сыну.

– Садись… Ешь, что Бог послал, – довольно ласково сказала она ему, когда он сошел вниз к ужину, – авось найдется и для тебя кусок хлеба у отца с матерью.

– Ешь, не брезгай нашей пищей, не вкусна она тебе покажется после барских кушаньев! – вздохнул Иван Антонович.

Петя целый день почти ничего не ел, но волнения, испытанные им перед приездом и после приезда домой, совсем лишили его аппетита. С большим трудом проглатывал он ложку за ложкой крутой гречневой каши со снятым молоком, составлявшей ужин семьи. Гораздо охотнее отказался бы он совсем от пищи, но он боялся, как бы не подумали, что он в самом деле брезгает, что домашняя еда стала ему противной. Ему так хотелось находить все домашнее хорошим и приятным, он так мечтал о родном угле и жизни среди своих близких, он все готов был сделать, только бы домашние не сердились на него, полюбили его.

Спать он лег на полу рядом с Федей и Ваней и ни разу не пришло ему в голову, как хорошо было лежать на мягкой постели в детской Красиковых, как уютно и спокойно было там, между тем как здесь Ваня беспрестанно толкал его во сне то кулаком, то ногой, клопы немилосердно кусали его, Антоша несколько раз будил его громким плачем.

На следующее утро, видя, что все в семье, кроме младших детей, принимаются за работу, он робко обратился к матери с просьбой дать ему какое-нибудь дело.

– Тебе?.. – Агафья Андреевна недоверчиво покачала головой. – Какое же дело ты можешь делать? Вон, мне надо дров нарубить, ты сумеешь ли? Еще, пожалуй, зарубишь себя топором? Федюшка, иди-ка ты наруби, отцу некогда. А вот сестры идут на речку белье полоскать, пожалуй, помоги им нести корзины.

Глаша и Капочка, две рослые, сильные деревенские девушки, услышав, что приезжий брат хочет помогать им, сначала громко расхохотались, но затем Капочка вскинула на плечо коромысло с двумя корзинами белья, а Глаша предложила Пете нести вместе с ней большую корзину, доверху наложенную мокрым бельем. Петя ухватился обеими руками за край корзины и с большим трудом приподнял ее.

– Что, тяжело? – с усмешкой спросила Глаша, взявшись за другой край корзины и без особенного усилия направляясь с ней через двор к речке, до которой надобно было пройти с четверть версты.

Петя не хотел показать, что ему тяжело, а между тем ноги его подкашивались, руки, державшие корзину, как-то одеревенели, сердце сильно билось. Глаша задерживала шаг, чтобы он мог поспевать за ней, но, несмотря на то, он все-таки отставал, и ему казалось, что он вот-вот сейчас упадет. Несмотря на все усилия, он никак не мог поддерживать свой край корзины на одной высоте с Глашиным: корзина оттягивала вниз и его руки и его самого. Глаша раза два посмотрела на него через плечо и затем поставила корзину на землю.

– Капочка… – позвала она сестру, которая уже далек ушла вперед, – иди-ка сюда, со мной. Наш москвич совсем не может, вишь как он запыхался, того глядь помрет.

Капочка вернулась и рассмеялась, взглянув на жалкую фигуру Пети, который с трудом переводил дух и отирал рукавом крупные капли пота с побледневшего лба.

– Эх ты московский барин! Туда же, работать вздумал, – насмешливо заметила она. – Оставь корзину, где тебе? Пожалуй, попробуй снести коромысло, это легче.

Она вскинула на плечи его свое коромысло, сама подхватила корзину и они с Глашей чуть не бегом потащили ее к реке. Петя не мог поспеть за ними: коромысло резало ему плечи, корзины, которые Капочка находила легкими, казались ему страшно тяжелыми. Обе сестры уже стояли на плоту и начали полосканье белья, когда он с большим трудом дотащился до берега и почти упал на траву. Сестры с сожалением посмотрели на него.

– Бедняга!.. Вишь как умаялся! Другой раз не берись не за свое дело! – заметила Глаша.

– Конечно, мы бы и без тебя все снесли, – сказала Капочка, – нам помощников не нужно. А ты, если добрый, так вот посиди с нами, пока мы полощем, да и расскажи нам все про Москву.

Пете было приятно сидеть в тени большой кудрявой липы на берегу реки, и от души хотелось ему доставить удовольствие сестрам, которые так ласково заговорили с ним. Он начал рассказывать им про гимназию, про разных учителей, но они на первых же словах перебили его.

– Нет, этого нам не нужно! – заявила Глаша: – а ты лучше расскажи, правду ли говорят, будто в Москве все барышни белятся и румянятся? – Этот вопрос поставил в тупик Петю.

И у Красиковых, и на московских улицах он встречал немало барышень, но никогда не решался разглядывать их лица, да если бы и решился, не сумел бы отличить естественный румянец от искусственного.

В других вещах, которые интересовали Глашу и Капочку, он оказался таким же невеждой: он не знал, какого фасона платья носят московские барышни и московские купчихи, сколько в Москве театров, какие пьесы в них дают и тому подобное…

– Фу, какой он глупый, – решила Капочка, – четыре года прожил в Москве и ровно ничего не знает…

И сестры, отказавшись от надежды добиться от него каких-либо интересных сведений, начали болтать друг с другом, не обращая на него больше никакого внимания.

Грустно поплелся домой Петя. Его первая попытка быть полезным или хоть приятным для кого-нибудь из домашних оказалась неудачной. Вскоре бедный мальчик убедился, что и другие подобные же попытки также ни к чему не приводили.

Все в доме, кроме Фени и Антоши, были заняты какой-нибудь работой, только для него одного не находилось дела по силам. Восьмилетний Ваня гораздо лучше его умел запрячь и распрячь лошадь, наломать лучины, загнать в хлев корову и овцу. О Феде и говорить нечего: он работал почти как взрослый мужчина, и дрова колол, и воду носил, и скот поил, и ездил на неоседланной лошади по разным поручениям управляющего. Если Петя предлагал помочь кому-нибудь из братьев, они обыкновенно или смеялись над ним, или сурово отзывались:

– Ну, куда тебе? Не суйся! Только мешаешь!

Агафья Андреевна пробовала первое время давать поручения старшему сыну, но у нее никогда не хватало терпения ни показать, ни объяснить ему, как их исполнить.

– Затопи-ка печку, пока я пойду доить корову! – приказывала она ему.

Петя бросался исполнять ее приказание, но он клал или слишком мало, или слишком много дров, не знал где найти сухой лучины и, возвратясь в избу, Агафья Андреевна ворчала:

– Экий глупый! Ничего не умеет по-людски делать! Ну, кто так печку топит? Пошел прочь!

В другой раз она поручила ему присмотреть за Феней и Антошей, но, увы! это оказывалось для Пети еще труднее, чем растопить печь. Феня постоянно находила предлог громко и неудержимо расплакаться, Антоша ни минуты не сидел спокойно на месте и всегда умудрялся залезть в самые неподходящие места: в ведра с помоями, в горшок с угольями, в мешок с мукой.

Агафья Андреевна быстро водворяла порядок: младшие дети боялись ее крутой расправы и при ней вели себя примерно, она указывала на них Пете и презрительно замечала.

– А ты и с ними-то справиться не можешь? Экая голова!

Петя сконфуженно уходил и старался пореже попадаться на глаза матери, чтобы не заслуживать ее презрения.

Раз как-то Иван Антонович позвал его к себе в контору и дал ему подсчитать какой-то длинный итог.

Петя не умел считать на счетах, а пока он переписывал на бумажку длинные ряды цифр, да делал и переделывал сложение, отец потерял терпение:

– Э, брат, да ты тише меня считаешь! – вскричал он, – давай сюда, я проложу на счетах.

И прежде чем Петя дошел в своем сложении до сотен, опытный конторщик высчитал и записал всю сумму в свою счетную книгу.

«Я ничего не умею, ничем не могу никому помочь», – грустно думалось мальчику и он не решался приниматься ни за какую работу, чтобы не услышать:

– Оставь, не так, экий неловкий! Не мешай!

Только в комнате бабушки не слышал он ничего подобного, только эта комната служила ему по-прежнему убежищем от всяких неприятностей. Но и в ней ему было далеко не так отрадно сидеть, как в прежние года. Старушка очень ослабла и одряхлела за последнее время. Она плохо понимала чтение и рассказы, часто забывала время, перепутывала имена, сама говорила мало и часто среди разговора вдруг засыпала. Своих работ ей, несмотря на это, ни за что не хотелось оставлять. Ее дрожащие пальцы с трудом перебирали стебли соломы и камыша, работа почти не подвигалась вперед, но она не оставляла ее и только говорила, тяжело вздыхая:

– Должно быть уж пора мне умирать; вон все один коврик плету, не могу кончить.

Пете было невыразимо жалко видеть, какими беспомощными стали эти руки, прежде такие ловкие и проворные. Он постарался припомнить те работы, каким она учила его в детстве, и стал потихоньку помогать ей.

Когда она засыпала среди дня и работа выпадала из ее ослабевших рук, он осторожно брал эту работу и сам продолжал ее. Старушка детски радовалась, видя, что корзинка или циновка, с которыми она так долго не могла справиться, быстро подходила к концу. Она не замечала добродушной хитрости мальчика и часто говорила ему:

– Петенька, ты не сиди все со мной, ты большой, тебе надо работать, нехорошо целый день ничего не делать. И мать будет недовольна. Иди, иди, голубчик, а я подремлю немножко.

Поневоле должен был Петя уходить.

Он шел в село, в поле, в лес. Впрочем, от прогулок по селу ему скоро пришлось отказаться.

Там все знали хорошо и его самого, и отца его, знали, как Ивану Антоновичу трудно содержать свою большую семью и радовались, когда ему удалось пристроить старшего сына. Неожиданное возвращение Пети из Москвы всех удивило и заинтересовало; как только он появлялся на улице, к нему обращались с вопросами, кончил ли он свое ученье, отчего не кончил, чем не угодил господам, чему научился, что думает теперь делать и тому подобное. За сбивчивыми ответами мальчика следовали неодобрительные покачиванья головы, соболезнующие вздохи, замечания вроде:

– Плохо, плохо, паренек! Отец на тебя рассчитывал, ты уж не маленький, должен ему помогать.

Петя попробовал возобновить знакомства с деревенскими мальчиками, с товарищами Феди и Вани. Но и до отъезда его в Москву деревенские дети не очень любили его: они так же, как московские гимназисты, находили, что он тихо бегает, что с ним скучно потому, что

он слаб, неловок и плохо видит; теперь же им доставляло особенное удовольствие вспоминать об его поездке в Москву и дразнить его этой поездкой.

– Вон идет московский барин! – кричали шалуны, завидев его издали.

– Ты московский, ученый! Нечего тебе лезть к нам дуракам! – говорили они, когда он подходил, чтобы принять участие в их игре или разговоре.

– Ты бы раза два поколотил их хорошенько, они и перестали бы дразниться, – советовал старшему брату Федя.

Но Петя не любил драться, да и понимал, что ему не под силу справиться с рослыми, здоровыми деревенскими забияками. Он предпочитал уходить от них подальше и по целым часам лежал где-нибудь в овраге или бродил один в лесу, только бы никого не встретить, не слышать ничьих расспросов, ничьих насмешек.

Невеселые мысли занимали мальчика во время этих одиноких прогулок. В Москве он был всем чужой, лишний, но там он и сам всех дичился, и Красиковых, и учителей гимназии, и даже своих товарищей-гимназистов; здесь он дома, в родной семье – и опять он один, опять он никому не нужен. Отец и мать не упрекают его больше за то, что он вернулся, но он ясно видит, что они не могут простить ему своего разочарования, своих обманутых надежд; сестры не обращают на него никакого внимания: у них свои интересы, свои дела о которых они шепчутся, грызя подсолнухи на завалинке около дома, и о которых он не имеет никакого понятия. Федя и Ваня отчасти презирают его за то, что он не умеет ни запрягать лошадей, ни ездить верхом, ни рубить дрова, отчасти удивляются, как это он ни с кем не дерется, не бранится, никогда не шалит и находят его вообще и скучным, и чудным.

– Красиковы не жалели обо мне, когда я уехал, наверно и дома одна только бабушка пожалела бы! – с болью в сердце думал бедный Петя.

Глава VII

В семье Ивана Антоновича готовилось радостное событие.

– Слава тебе Господи, – со слезами умиления говорила Агафья Андреевна, – хотя одну помог Бог устроить.

Этой счастливицей была старшая дочь, восемнадцатилетняя Глаша: она выходила замуж, и за такого жениха, о котором не смела и мечтать.

В десяти верстах от Медвежьего Лога было большое базарное село Полянки. Там с зимы открылась первая постоянная лавка с разным мелочным и красным товаром. *(Красный товар (уст.) – мануфактура, ткани)* Хозяин этой лавки, молодой купец Филимон Игнатьевич Савельев, приезжал летом по делам в Медвежий Лог и познакомился с семьей Ивана Антоновича. Глаша с первого раза, видимо, очень понравилась ему, и он стал довольно часто наведываться в Медвежий Лог. О причине его посещений нетрудно было догадаться: и как отец с матерью, так и молодая девушка, были в восторге. Иван Антонович не знал, куда лучше усадить, каким разговором приятнее занять дорогого гостя; Агафья Андреевна не спала по ночам и входила в долги, чтобы приготовить для него угощение повкуснее; Глаша надевала для него свои лучшие платья и щедро мазала голову самой душистой помадой. Наконец, дело пришло к желанному концу, и в один ясный осенний день Глаша была объявлена невестой Филимона Игнатьевича. Свадьбу решили не откладывать надолго: частые поездки к невесте отрывали жениха от дел, и Глаше хотелось поскорее стать купчихой, хозяйкой, променять бедную хату отца на зажиточный дом мужа. На другой день после Покрова отпраздновали свадьбу, отпраздновали очень скромно: у Ивана Антоновича не было лишних денег, а Филимон Игнатьевич не любил тратиться на такие пустяки, как прием и угощение гостей.

Глаша благополучно водворилась в доме мужа, а жизнь в семье Ивана Антоновича пошла своей обычной чередой, только и Агафье Андреевне, и Капочке приходилось работать еще больше прежнего, делать вдвоем работу, которой хватало на трех. Агафья Андреевна уставала, а от усталости она всегда становилась сердитой и бранчливой. В прежнее время, когда на нее находили припадки раздражительности, она всегда ворчала на бедность, на недостатки, на неумение мужа найти себе место повыгоднее, теперь неудовольствие ее обращалось главным образом на Петю. В холодную, дождливую, осеннюю погоду он не мог уходить в лес, поневоле приходилось ему беспрестанно попадаться на глаза матери.

– Скажи ты мне на милость, – приставала она к нему, – неужели же ты так всю жизнь будешь слоняться без дела? Ведь учили же тебя чему-нибудь в Москве? Неужели ты не можешь найти себе никакого занятия?

– Да где же мне искать? – робко спрашивал Петя.

– Где?.. Ну, отца бы просил, коли сам не можешь, чего он в самом деле не похлопочет?

Но Иван Антонович и без просьбы сына много думал о том, как бы пристроить его. Задача была нелегкая: какую работу, какое место найти для тринадцатилетнего мальчика – слабосильного, неловкого, близорукого, ничего не знающего, кроме русской грамоты, с грехом пополам арифметики, да нескольких правил латинской грамматики. Он попробовал было попросить управляющего, не найдется ли для Пети какого-нибудь занятия в имении, но управляющий, строгий, аккуратный немец, укоризненно покачал головой:

– Эх, Иван Антонович, – сказал он, – сами вы знаете, мальчик у вас глупый, неспособный, какое же ему у нас может быть занятие, мне стыдно и рекомендовать его куда-нибудь, когда он и в гимназии не мог учиться, и у господ не ужился.

Иван Антонович тяжело вздохнул и ничего не мог возразить. Он находил, что управляющий прав, что Петя в самом деле ни к чему неспособен, ни на что не годен. Одна надежда

оставалась на Федора Павловича. Он написал ему почтительное письмо, умоляя куда-нибудь пристроить мальчика, хотя бы в услужение в какой-нибудь богатый дом. Федор Павлович не замедлил ответом: он выражал сожаление, что Иван Антонович не находит утешения в своем старшем сыне, посылал двадцать пять рублей на Петины расходы, но положительно отказывался пристроить его куда бы то ни было.

«Отдавать его в какое-нибудь учебное заведение, – писал он, – не стоит, он неспособен к наукам; для занятия ремеслом он слишком слаб, да я и не знаю никакой хорошей мастерской, куда можно бы поместить мальчика; что касается до места лакея, о котором вы пишете, я, понятно, не могу определить на такое место мальчика, который был товарищем моих сыновей; к тому же, по своей неловкости и близорукости, он едва ли в состоянии порядочно служить в этой должности».

Письмо Федора Павловича пришло при Филимоне Игнатьевиче, приехавшем вместе с женой навестить родных. Иван Антонович прочел его громко при всех, и вся семья стала обсуждать судьбу Пети.

– Истинно божеское наказание, – плакалась Агафья Андреевна, – ну, что мы будем с ним теперь делать? Вот и будет вечно сидеть на шее отца.

– Ума не приложу, куда бы пристроить его? – говорил Иван Антонович. – Ведь он уже не маленький, надо, чтобы он выучился зарабатывать себе хлеб насущный. Да и нехорошо мальчику без дела шляться – избалуется.

– Известно, избалуется! Это, как Бог свят! – подтвердил Филимон Игнатьевич. – Горе вам с ним не малое. А я так думаю, что как теперь по родству, так следует мне этому вашему горю помочь. Отдайте мне его. Он малый смирный, грамотный, может, мне и удастся приспособить его к своему делу. Я сам часто в разъездах бываю, он заместо меня в лавке посидит, и Глашеньке приятно будет, что у нас в доме свой, а не чужой какой мальчишка.

Иван Антонович и Агафья Андреевна рассыпались в благодарностях. О согласии Пети никто и не спрашивал. Само собой разумеется, что он должен быть и рад, и благодарен, должен думать об одном, чем бы заслужить милость Филимона Игнатьевича.

– Что же ты все молчишь, Петя? – с неудовольствием обратился к нему Иван Антонович. – Поблагодари же Филимона Игнатьевича, скажи, что постараешься услужить ему.

– Я буду стараться, – совершенно искренно проговорил Петя.

Он не знал, что ждет его в доме зятя, но он был рад, что и для него нашлось какое-нибудь дело, что и он наконец может зарабатывать свой хлеб и не слышать упреков в дармоедстве.

Филимон Игнатьевич не любил никакого дела откладывать в дальний ящик, и так как в той тележке, в которой он с женой приехал в Медвежий Лог, было место для третьего, то он предложил в тот же день взять Петю с собой. Все были очень рады этому, одна только бабушка всплакнула, прощаясь с любимым внуком.

Агафья же Андреевна напутствовала сына следующим внушением:

– Смотри у меня, Петр, если и тут не уживешься, лучше не являйся мне на глаза.

Петя не был у Глашеньки после ее свадьбы, и ей очень хотелось поскорей показать ему свои владения. Дорогой она все толковала ему, как хорошо и весело жить в Полянках, гораздо лучше, чем в Медвежьем Логе, и какой бедной, темной представляется ей теперь отцовская хата после того, как она пожила в своем доме. Молодая женщина видимо очень гордилась и этим домом, и всем достатком своего мужа.

Новый двухэтажный дом Филимона Игнатьевича стоял на самой базарной площади села Полянок. Это был прочный деревянный дом, с красной железного крышей, зелеными ставнями и зеленым же забором, окружавшим просторный двор с разными хозяйственными постройками. В нижнем этаже помещалась лавка Филимона Игнатьевича:

«Продажа красного боколейного и протчего товару», как значилось большими красными буквами на черной вывеске, и кладовые, где хранился этот товар; в верхнем этаже жили сами хозяева.

– Ты смотри, Петруша, как у нас хорошо, – говорила Глашенька, с горделивой радостью показывая брату свое царство: чистую горницу, предназначенную для приема почетных посетителей и убранную «по благородному», с диваном, мягкими креслами и простеночным зеркалом, другую комнату попроще, уставленную деревянными столами и скамьями, сундуками, покрытыми пестрыми коврами и огромным посудным шкафом, спальню с грудой перин и подушек на кровати и, наконец, кухню с громадной печью, около которой возилась рябая одноглазая работница Анисья, предмет немалой гордости Глаши, которой первый раз в жизни приходилось иметь «свою» прислугу.

После квартиры Красиковых, после других богатых домов, которые Петя видел в Москве, Глашино царство не могло поразить его своим великолепием. Но когда он сравнивал это просторное светлое, помещение с тесной, душной избой отца, он понимал, что сестра его могла радоваться перемене своего положения. После комнат она заставила его подробно осмотреть все чуланы и кладовые, потом повела его на двор и показала ему новую лошадь, корову, кур, даже цепную собаку. Петя все хвалил, все находил прекрасным.

– Да, – не без самодовольства заметил Филимон Игнатьевич, подходя к ним, – хорошо, у кого есть свой достаточек. Это мне все покойный родитель оставил. Все его трудом да умом нажито. А был он сначала совсем бедняга, не лучше тебя, Петя. Также мальчишкой в лавке служил. А как присмотрелся к делу, и начал понемногу сам за себя торговлей заниматься. Дальше, да больше, приобрел так, что и себя в старости успокоил, да и нам с братом (у меня брат в Москве торгует) оставил на помин своей души.

– Вот бы и тебе также, Петенька! – сказала Глаша: – попривык бы около Филимона Игнатьевича да и стал бы сам торговать.

Петя ничего не отвечал. Но вечером, лежа на жесткой постели в маленькой теплой комнатке сзади лавки, он вспомнил слова сестры, и ему представилось, что в самом деле хорошо бы разбогатеть, как разбогател отец Савельева, нажить себе такой же дом, такую же лавку, быть не «мальчишкой», а хозяином.

«Может, дело и не очень трудное, – думалось ему, – постараюсь… Буду изо всех сил стараться, авось, хоть тут не скажут: „не может, не способен“».

Глава VIII

Раз в неделю в Полянках бывал базарный день. С раннего утра, еще до восхода солнца, на площади появляются возы с разными деревенскими продуктами: с сеном, дровами, овсом, мукой, крупой, замороженными поросятами, курами и утками. Бабы приносят лукошками яйца, ведра соленых груздей и рыжиков, мешки с пряжей и толстым холстом своей работы; торговцы раскидывают палатки с разным мелким товаром; мясники выкладывают на столы всевозможные куски говядины, телятины, баранины и свинины, калачницы и пирожницы спешат занять места получше и при этом перебраниваются самым бесцеремонным образом. Площадь быстро наполняется народом. Не только все полянковцы, но и жители соседних деревень, верст на десять в окружности, ждут субботы, чтобы побывать на базаре. Одному надо что-нибудь продать, другому купить, а главное, всякому хочется просто потолкаться между людей, встретиться со знакомыми, послушать новостей.

В базарные дни лавка Филимона Игнатьевича открыта с семи часов утра, и с семи часов в ней уже толпятся покупатели. Ловкий, расторопный хозяин всякому успеет угодить; товары у него самые разнообразные, на все вкусы: разные материи на платья, начиная от бархата и атласа до простого ситца; всякие закуски: колбаса, ветчина, сыр, сельди; разная посуда, как чайная, так и столовая, и всевозможные вещи, необходимые в хозяйстве: соль и керосин, деготь и чай, сахар и помада, уксус и патока. Другой покупатель зайдет в лавку купить всего на гривенник, а поглядит одно, другое и сделает покупок на целый рубль. С пустыми руками Филимон Игнатьевич никого от себя не отпускал: одних он пленял необыкновенной почтительностью и услужливостью, других поражал решительностью, с какой объяснял, что лучше и дешевле товара нельзя найти даже в Москве, третьих привлекал своей обходительностью, своей готовностью потолковать о всяком деле, посочувствовать всякому горю.

– Люблю Филимона, – говорил про него толстый полянкинский трактирщик, – хоть и надует, да зато всякое уважение сделает, оно как будто и не обидно.

При таком юрком хозяине Пете было немало дела. Первое время беспрестанные покрикиванья: «живей, отвесь фунт сахару», «отмерь десять аршин тесемки», «подай красный ситец с верхней полки», «сбегай в подвал за селедкой», «налей полфунта керосину», «поворачивайся», «скорей», «не задерживай покупателя», смущали и ошеломляли его до того, что он, как потерянный, бросался из стороны в сторону, одно ронял, другое проливал, третье забывал. Но мало-помалу он привыкал к роли «мальчишки», как его называли хозяин и покупатели, выучился отвешивать, отмеривать, завертывать и завязывать в бумагу. Он узнал названия всех товаров, где и как они лежат, какую цену запрашивать и за сколько можно их уступать. Филимон Игнатьевич перестал бранить его при всех «филей», «разиней», «увальнем» и тому подобное, иногда даже, отлучаясь из лавки на час, другой, поручал ему заменять себя.

На тревожные вопросы Ивана Антоновича и Агафьи Андреевны – доволен ли он Петей? Привыкает ли мальчик? Филимон Игнатьевич как-то неохотно отвечал:

– Ничего, он парень смирный, старательный.

Но с Глашей он говорил откровеннее: – Не знаю, право, будет ли какой толк с Пети, – рассуждал он, – он не дурак, и послушен, и в шалостях ни в каких не замечен, а все как-то не того… Сути нашего дела понять не может.

Это была правда. Многого в деле Филимона Игнатьевича Петя совсем не мог понять. Он не мог понять, как сделать, чтобы четыре с половиной фунта весили пять фунтов, а девять с половиной аршин оказывались десятью, не мог понять, почему кабатчику, который уже задолжал в лавку больше двадцати пяти рублей, можно отпускать в долг, а тетке Маланье,

которая честно уплатила свой долг в пятнадцать копеек, нельзя поверить без денег и двух фунтов соли. Не понимал он также, кому из покупателей можно сбывать гнилой, линючий или подмоченный товар и кому нельзя, с кого следует запрашивать втридорога и после длинных переговоров «сделать уважение» и кому, напротив, следует назначать настоящую цену.

Иногда за ужином Филимон Игнатьевич любил порассказать о своих торговых удачах:

– Посчастливилось мне сегодня, – говорил он, утолив голод тарелкой жирного борща, – помнишь, Глашенька, я купил весной чуть не задаром десять фунтов подмоченного чаю, сегодня все спустил по рубль двадцать за фунт. Из Покровки приехал Силантьев, он там открыл лавочку, да дела не разумеет, я ему на двадцать фунтов и подложил десять попорченных. Не беда, в деревне не разберут, а нам лишних десять рублей не мешают.

– Конечно, не мешают! – поддакивала Глашенька, смотря с блаженной улыбкой на своего умного мужа.

– Глупый народ бывает на свете! – смеялся в другой раз Филимон Игнатьевич: – приходит сегодня баба, купила соли, керосину, опояску мужу, себе платок и дочке платок; вытаскивает деньги, а у нее всего восемьдесят копеек, двадцать копеек не хватает. Вертится, так, сяк, – «уступите», «в долг поверьте». Потом стала выбирать, чего можно не купить: без соли да без керосину нельзя домой придти – муж поколотит, и на опояску муж дал деньги, а платки-то очень уж приглянулись, жаль с ними расстаться… Я смотрю, у нее в кузовке мотки шерсти. Ну, говорю, тетка, я так и быть, ради твоей бедности, возьму у тебя вместо денег шерсть; давай два мотка за платок. Она сначала, куда тебе, на базаре, говорит, продам дороже! А потом жалко ей с платками расстаться – отдала дура. А ведь я за моток шерсти копеек сорок в городе возьму. Барыш хоть куда!

– Побольше бы таких дур, хорошо бы нам было! – смеялась Глашенька.

А Петя не смеялся и не восхищался ловкостью своего хозяина. Ему было жалко и покупателей Силантьева, которым придется пить гадкий подмоченный чай, и бабу, которая так дорого заплатила за приглянувшийся ей платок.

Он вспомнил, как мечтал разбогатеть, подобно отцу Филимона Игнатьевича, и думал, что если богатство можно приобрести только тем путем, каким приобрел его Савельев, то он должен отказаться от надежды стать когда-нибудь человеком богатым.

В один зимний вечер Петя остался в лавке без хозяина, Филимон Игнатьевич уехал тотчас после обеда в одну деревню, верст за тридцать. Там летом побило поля градом, у мужиков не хватало хлеба, и они, чтобы прокормиться, продавали за бесценок скот и лошадей; нельзя было упустить такой удобный случай поживиться.

День был не базарный и покупателей приходило в лавку очень мало. Петя уже собирался закрыть ее, как вдруг на пороге появился высокий, седой старик.

– Дома хозяин? – суровым голосом спросил он.

– Нет, хозяин уехал, а вам что угодно? Я могу и без хозяина продать вам, что потребуется, – отвечал Петя, стараясь подделаться под тот любезный тон, каким Филимон Игнатьевич говорил с почетными покупателями.

– Мне вашего товару не требуется! – заговорил старик, облокотясь о прилавок и пристально глядя на Петю, – я пришел только сказать твоему хозяину, да коли хочешь, так и тебе, что вы обманщики и плуты.

– Как же это так? – растерялся Петя.

– А вот как: в прошлую субботу к вам пришла моя невестка и купила у вас ситцу себе на сарафан да мальчишкам своим на рубашки. Хозяин твой клялся и божился, что ситец крепкий, хороший, а он оказался как есть гнилой да линючий. А за этот ситец вы с бабы взяли двадцать аршин холста, который она, почитай, ползимы ткала, ночей недосыпаючи. Не мошенничество это по-твоему?

– Я не знаю, это хозяйское дело! – еще больше смутился Петя.

Он хорошо помнил и бабу с ее простодушным лицом, и ее холст, и ситец, который по приказанию хозяина он достал для нее с верхней полки, где лежал попорченный товар.

– Не знаешь? Хозяйское дело? – повторил старик, – может это и правда, а только вот я тебе что скажу, и ты этого не забывай: кто живет с нечестными людьми, укрывает воров, помогает мошенникам, тот сам вор и мошенник, так его всякий и разумеет, помни это.

Старик говорил суровым, каким-то зловещим голосом и как будто для того, чтобы придать больше выразительности словам своим, ударил палкой об пол. Ужас охватил Петю. Может быть, его испугало неожиданное появление старика или его угрожающий тон, а может быть, он раньше, в глубине души неясно слышал те же слова, потому-то они и ошеломили его. Несколько минут сидел он молча, закрыв лицо руками, не смея шевельнуться. Когда он решился открыть глаза и оглянуться – в лавке никого не было. Осторожно, словно крадучись, подошел мальчик к двери и приотворил ее; нигде на улице не видно было старика. Он все так же осторожно, боязливо запер дверь и ставни окон, погасил в лавке огонь и пробрался в свою каморку на постель. Ему ни за что не хотелось идти наверх к Глаше, слушать ее болтовню, отвечать на ее расспросы, поджидать с ней вместе возвращения Филимона Игнатьевича. Ему хотелось быть одному, совсем одному. Он чувствовал лихорадочную дрожь во всем теле, а мысли, все грустные, печальные мысли толпились в голове его…

«Вор, мошенник… Неужели это правда, неужели он заслужил эти ужасные названия?.. Но чем же он виноват?.. Он не хотел быть в тягость отцу и матери, он хотел сам зарабатывать свой хлеб… Старик говорит: „кто помогает мошенникам“, но как же он может не помогать, как он может не слушаться хозяина, ведь тогда Филимон Игнатьевич наверно прогонит его, и опять придется ему вернуться домой, как два года тому назад, и опять слышать „лентяй, дармоед“? Тогда хоть была жива бабушка, можно было отдохнуть около нее, а теперь никого… Она умерла прошлым летом и его не отпустили даже попрощаться с ней… Вор, мошенник… Неужели в самом деле его будут так называть? А он всегда хотел быть честным, никого не обманывать, не обижать, честно зарабатывать себе пропитание… Но что же ему делать? Все говорят: неспособен, ничего не может… Неужели же он к одному только способен – быть мошенником? Нет, неправда, к этому он совсем не способен и не хочет быть способным, он до сих пор только слишком боялся Филимона Игнатьевича, он был слишком тих и покорен»…

На следующий день Филимон Игнатьевич заметил, что Петя был бледнее и угрюмее чем обыкновенно. Он по-прежнему молчаливо и старательно исполнял поручения хозяина и услуживал покупателям, но в поведении его появилось нечто новое, чего прежде не было и что не могло нравиться Филимону Игнатьевичу. Когда в лавку вошел какой-то полупьяный мужик, сделал покупок на сорок копеек; отдал рубль и хотел уходить, не дождавшись сдачи, Петя побежал за ним и почти насильно всунул ему шестьдесят копеек сдачи.

Когда какие-то бабы пришли покупать платки и Филимон Игнатьевич, занявшись другими покупателями, велел Пете показать им «самых лучших московских, с верхней полки», Петя достал из ящика те платки, про которые знал, что они действительно прочные, нелинючие… Когда Филимон Игнатьевич оставлял его одного в лавке, он ничего не запрашивал лишнего с покупателей, а брал с них ту цену, за которую хозяин позволил ему уступить товар. Филимон Игнатьевич сначала молча хмурился на эти поступки Пети, потом начал ворчать на него и, наконец, прямо объявил ему:

– Ты у меня не изволь мирволить покупателям. Это что за порядки? Хочешь у меня служить, так мне и усердствуй, а не другим.

– Я все делаю, что вы велите, – возразил Петя, – только зачем же обманывать?

Филимон Игнатьевич рассердился.

– Обманывать? Это еще что выдумал? Ты это меня, пожалуй, обманщиком ставишь? Ах ты негодный мальчишка! Вот уж не на радость связался с дураком!

Он рассказал о Петиной дерзости Глаше, та пришла в ужас и при нервом же свидании передала отцу и матери, как глуп Петя. Агафья Андреевна нарочно приехала в Полянки, чтобы хорошенько побранить сына еще раз повторила ему:

– Смотри, не думай домой возвращаться. Знай, что я тебя и на порог не пущу, если ты пойдешь против Филимона Игнатьевича. Смеешь ли ты осуждать его? Ты должен денно и нощно молить за него Бога, как за своего благодетеля, да всячески угождать ему, а не дерзости делать, так ты и помни.

Тоска напала на Петю. Ни от кого не находил он себе поддержки, нигде не видел выхода из своего положения. «Угождать» Филимону Игнатьевичу, значило приучаться мошенничать, не угождать – значило слышать беспрестанные упреки, брань, и в конце концов быть со стыдом выгнанным из лавки.

Опять, как два года тому назад, перед мальчиком явился мучительный вопрос, что он знает, что умеет, чем может заработать себе кусок хлеба? И опять он не мог ответить на этот вопрос. Впрочем, нет, за это время он научился быть мальчишкой в лавке, он, пожалуй, мог бы достать себе место у другого торговца. Не все же они ведут дела свои так, как Филимон Игнатьевич, между ними есть и совершенно честные люди… Да, но как найти их? В Полянках не было другой лавки, пойти разве в город?.. В первый раз, когда эта мысль пришла в голову Пети, он отогнал ее, как совершенно нелепую. Но она стала все чаще и чаще посещать его. При всякой неприятности он убеждал себя:

«Отчего же мне не идти? Ведь я уже не ребенок, мне шестнадцатый год. Другие в мои годы ходят как далеко на заработки. Чего мне здесь жалеть?»

Наконец решение уйти так крепко засело у него в голове, что он ни о чем другом не мог думать. Он не говорил никому ни слова о своем намерении, но понемногу готовился, копил деньги на дорогу из того небольшого жалованья, какое платил ему Филимон Игнатьевич, и заводил разговоры с покупателями, стараясь разузнавать от них о жизни в соседних городах и о дороге туда.

– Если бы Петр не был твой брат, – говорил Филимон Игнатьевич своей жене, – давно бы прогнал я его. Никакого проку с него нет и не будет. То выдумал напускать на себя какую-то честность, а теперь ходит как потерянный. Говоришь ему одно, он делает другое, то не довесит, то перемерит, сегодня вместо постного масла налил в бутылку керосину, вчера вместо сахарного песку отпустил соли.

И опять, как в первое время жизни в лавке, Пете приходилось слышать: «ротозей», «простофиля», но теперь это не огорчало его.

«Пусть себе бранится – думалось ему, – теперь уже не долго, переживу только зиму, а как весна, так и уйду».

Глава IX

Петя знал, что если он расскажет кому-нибудь из родных о своем намерении оставить Филимона Игнатьевича, все на него накинутся, станут и бранить, и упрекать, и всячески отговаривать его. Поэтому он решил уйти потихоньку и уже с дороги написать матери письмо с объяснением, отчего ему было невозможно оставаться в Полянках и захотелось поискать счастья на другом месте. В этот год Святая была поздняя. Лавка Филимона Игнатьевича оставалась запертой первые три дня праздника, и Пете позволили провести эти дни у родителей. Сначала Глашенька собиралась сама ехать с ним в Медвежий Лог в первый день праздника после обеда, но ее маленький, полугодовой сынок вдруг захворал, и она решила лучше остаться.

– Поздравь за меня папеньку и маменьку, – говорила она Пете, – скажи, что как только Игнаша выздоровеет, я к ним сама приеду и гостинца привезу, скажи…

Но Петя не слушал поручений сестры. Если уходить – так именно теперь. Лучшего случая не дождаться. Его не хватятся целых три дня, а в три дня он будет уже далеко и напишет матери письмо. Он наскоро попрощался с Глашей, не стал ждать, пока проснется заснувший после обеда Филимон Игнатьевич, сбежал в свою каморку, связал в узелок свое белье и платье, сунул за пазуху мешочек с деньгами и десяток крашеных яиц, полученных в подарок от сестры, и, дрожа от волнения, беспрестанно озираясь по сторонам, вышел на улицу. Ему очень хотелось пуститься бежать, но он нарочно задерживал шаг, чтобы не возбудить подозрения соседей.

– Куда это ты собрался, Петя, с таким узлом? – спрашивали у него встречавшиеся ему на улице знакомые.

– В Медвежий Лог, к отцу, – отвечал он, стараясь казаться спокойным, хотя голос его дрожал.

– Должно быть, гостинца старикам несешь? – продолжали любопытные, оглядывая узел с пожитками Пети: – Филимон Игнатьевич, что ли, посылает?

– Нет… это так… мое… – конфузился Петя.

– Твое? Ну, что ж, хорошо, что сам припас. Иди, иди, порадуй отца с матерью. Чай, заждались тебя.

Тяжело было Пете выслушивать эти добродушные замечания. Все думают, что ради такого большого праздника он хочет порадовать отца с матерью, а он… Сердце его сжималось, но он твердым шагом шел вперед. Вот он миновал и Полянки, и кладбище за полверсты от деревни, еще пройти версту и там за рощей дороги разойдутся: направо – в Медвежий Лог, к родным, налево – в Заречье и оттуда прямо по шоссе к железной дороге.

На перекрестке Петя приостановился на минуту.

– Идти или нет?.. Еще время есть повернуть направо… Отец и мать встретят с радостью… Будут угощать… Нет, пустяки, идти так идти. Не к чему возвращаться!.. Он повернул направо и нарочно ускорил шаг, чтобы не давать себе времени раздумывать. До Заречья было двадцать пять верст. Петя прошел их, почти не отдыхая, но подойдя к деревне почувствовал, что больше не может двигаться, и решил заночевать. Из Заречья мужики часто приезжали в Полянки; многие из них знали Петю, а он больше всего боялся встречи со знакомыми. На главной улице слышались песни, смех, громкие разговоры. Петя свернул в переулочек и стал пробираться задами мимо огородов и овинов. У самого выхода из деревни он заметил полуразрушенный домик, служивший, вероятно, прежде баней. Он вошел туда и припер за собой дверь. День был праздничный; народ гулял и веселился, кому придет охота заглядывать сюда? Избушка была низенькая, с земляным полом, с двумя небольшими отверстиями в стене вместо окон, без потолка и с широкими дырками в полуразобранной крыше. Но

ночь была довольно теплая, усталость одолевала мальчика, здесь он мог отдохнуть, никого не встретив, не слыша никаких назойливых вопросов. Он подложил себе под голову свой узелок, растянулся на жестком полу и через пять минут уже спал крепким, спокойным сном.

Солнце стояло высоко на небе и заливало своими яркими лучами его убогое убежище, когда он проснулся на следующее утро. Голод мучил его; он вспомнил взятые с собой крашеные яйца и позавтракал ими без хлеба и без соли. Времени нельзя было терять. До станции железной дороги он должен был пройти десять верст, а ему непременно хотелось сесть на поезд в тот же день. Подкрепившись сном и пищей, он двинулся в путь и выбрался из деревни опять задворками, чтобы никого не встречать.

Было уже более полудня, когда Петя, еле передвигая ноги от усталости, дотащился, наконец, до станции железной дороги. Он вошел в большой пустой зал; несколько человек, с узелками и котомками, скромно сидели на скамейках около стен. Окошечко кассы было открыто.

– Позвольте мне билет до Москвы, – робко обратился Петя к кассиру.

– Московский поезд ушел полчаса тому назад, – отвечал тот, – другого до завтра не будет, я продаю билеты в Н…

Петя задумался. Н. был большой город, наверное и там можно найти работу. По крайней мере туда он поедет сейчас, а завтра его, пожалуй, схватятся дома, могут найти здесь на вокзале и вернуть. Да Н. и ближе, чем Москва, может быть ему не придется отдать все свои деньги за билет, останется хоть что-нибудь на пищу.

– Позвольте мне билет в Н., – еще более робким голосом попросил он кассира.

Кассир окинул подозрительным взглядом молодого путешественника, который, очевидно, сам не знал, в какую сторону ему ехать, но не сказал ни слова и молча протянул ему билет. Какое счастье! У Пети осталось еще рубль шестьдесят копеек. Он тотчас же купил себе в буфете станции большой кусок хлеба и, усевшись в вагон подъехавшего поезда, принялся с спокойным сердцем подкреплять себя пищей.

Третий раз в жизни он ехал по железной дороге и как различны были его ощущения во все эти три раза! В первый раз он чувствовал себя несчастным ребенком, заброшенным среди чужих людей, во второй его мучила мысль о приеме, ожидающем его дома, теперь же, внимательно оглядев немногих пассажиров, сидевших с ним вместе в вагоне, и убедившись, что эти лица совершенно незнакомы ему, он стал бодро смотреть во все стороны. На душе его было легко и спокойно; он чувствовал, что поступил хорошо, бросив Филимона Игнатьевича со всеми его ловкими проделками, что ему пора начать самостоятельную жизнь.

Мысль о родителях, о том, как они и встревожатся, и рассердятся, узнав, что он исчез, несколько пугала его. «Ничего, я напишу им, как только найду место», утешал он себя, «я им все объясню, они успокоятся, когда узнают, что я при деле»…

В Н. поезд пришел на следующий день рано утром. В вагоне Петя отдохнул хорошо, выспался и решил, не теряя времени, начать свои поиски места. У него не было ни рекомендаций, ни знакомых в городе, но это нисколько не беспокоило его. Он направился прямо к большому магазину бакалейных товаров, помещавшемуся против вокзала, и, вежливо поклонившись хозяину его, спросил – не нужен ли ему мальчик в лавку. Хозяин, высокий, седобородый купец, сердито посмотрел на него:

– Какой там еще мальчик? – заворчал он: – у меня своих внучат трое, понадобится мальчик, не стану чужого брать, проваливай, некогда пустяками заниматься.

Неудачное начало не смутило Петю. Конечно, он и не надеялся, что его возьмут в самой первой лавке. Надо походить, еще попробовать. И он стал ходить из улицы в улицу, из переулка в переулок. Сначала он выбирал магазины покрасивее и побогаче с виду, потом заходил и в самые маленькие лавчонки. Большей частью продавцы сухо отвечали ему «не надо мне никакого мальчика» и следили за ним подозрительным взглядом; некоторые встречали его

предложение насмешкой; некоторые вступали с ним в разговор, расспрашивали откуда он, где прежде служил, имеет ли рекомендацию от прежнего хозяина? Когда Петя отвечал, что у него нет ни рекомендаций, ни знакомых в городе, которые могли бы за него поручиться, ему объясняли, что нельзя взять с улицы незнакомого мальчика и переставали заниматься им. Целый день проходил таким образом бедный мальчик, отдыхая на скамейках около ворот. Голод, усталость одолевали его. Он зашел в маленький трактир в одной из бедных улиц города и присел к столику, около которого несколько человек рабочих с большим аппетитом уничтожали миску горячей селянки. Он спросил и себе порцию этого кушанья и, дождавшись, пока рабочие, окончив ужин, стали собираться уходить, обратился к ним с робким вопросом: «Не знаете ли вы, где бы мне переночевать?»

Рабочие с недоумением посмотрели на него.

– Ты что же это, паренек, не здешний, что ли? – спросил один из них.

Петя рассказал, что пришел из деревни издалека искать работы, что целый день напрасно предлагал свои услуги в лавках, что в городе у него никого нет знакомых. Рабочий с состраданием посмотрел на него.

– Не знаю, какую работу ты найдешь, молод ты, да и жидок с виду, должно, силы-то у тебя немного. А на счет ночлега я тебя проведу к своей куме, к Кондратьевне: она пускает к себе ночлежников, женщина она хорошая, честная, у нее тебя никто не обидит, а так зря ходить тебе не годится, на тебе одежа порядочная и в узелке вещи есть, город не деревня, здесь надо держать ухо востро, мошенников много, оберут тебя как липку.

Петя поблагодарил рабочего и хотел сейчас встать и идти с ним вместе, но рабочий остановил его.

– Нет, это не дело! – сказал он, – ты спросил себе порцию, за нее деньги придется платить, так ты и ешь, а я подожду, мне не к спеху.

Домик Кондратьевны помещался почти на выезде города, в так называемой «Собачьей слободе». Он состоял всего из одной комнаты, разделенной дощатой перегородкой на две неравные части, – в меньшей жила сама Кондратьевна с своими двумя маленькими внучками-сиротками, другую, большую, она отдавала в наем ночлежникам. За пять копеек желающий получал от нее соломенный тюфяк сомнительной чистоты и право расположиться с этим тюфяком на ночь в любом месте совершенно пустой комнаты. Мало удобств представляла эта комната с низким закоптелым потолком, с расщелившимся полом и перекосившимися стенами, по которым свободно расхаживали клопы и тараканы, но бесприютные бродяги и рабочие, не имевшие возможности нанять себе постоянную квартиру, охотно шли к Кондратьевне. Им нравилось, что она не пускает к себе ни пьяных, ни буянов, следит, чтобы никто из ее постояльцев не унес ничего чужого, встречает всех приветливо, выслушивает рассказы о разных бедах и неудачах, при случае дает хорошие советы. Летом у нее редко ночевало меньше десяти человек, а в дождливые осенние и холодные зимние вечера число ночлежников доходило иногда до двадцати пяти.

Когда Петя вошел со своим спутником к Кондратьевне, лучшие места в комнате были уже заняты: этими лучшими считались летом места около окон, зимой поближе к печке. Кондратьевна приняла мальчика радушно, выбрала для него постель почище, сострадательно покачала головой, узнав, что он пришел в город искать места, и предложила ему беречь у себя его вещи, чтобы ему не приходилось постоянно носить с собой свой узелок. Несмотря на усталость после дороги и целого дня ходьбы по городу, Петя долго не мог спать. Сначала он невольно присматривался к своим сотоварищам по комнате. После него пришло еще человек семь. Все это были люди, истомленные нуждой, с испитыми лицами, в грязной разорванной одежде; они не снимали этой одежды, ложась спать, только стаскивали с ног грубую обувь в дырках или заплатах. Одни долго кряхтели и ворчали про себя, укладываясь на свои жесткие постели, другие заводили друг с другом разговоры вполголоса. И невеселые были эти

разговоры. Один рассказывал, какие тяжелые кули таскал он на вокзале железной дороги и как мало удалось ему заработать; другой говорил, что напрасно ходил на стеклянный завод за десять верст от города в надежде найти хотя какую-нибудь работу, третий жаловался, что хозяин, у которого он работал прежде, взял другого работника, пока он лежал в больнице в тифе, четвертый объявлял, что завтра же идет в деревню.

– Буду Христовым именем питаться, да дойду до родной стороны, – говорил он, – шел в город, думал, найду здесь работу, с деньгами вернуся, гостинцев ребятам наобещал, а какие там гостинцы? Что заработал за зиму, того еле на пищу хватило, даже одежи себе не справил.

«Боже мой, Боже! Неужели и со мной будет то же?» – думал Петя, с тоской прислушиваясь к этим грустным речам. Мало-помалу разговоры замолкли, послышался храп, сопенье на разные голоса; какой-то старик несколько раз вскрикивал во сне страшным голосом, в другом углу комнаты кто-то громко бредил. Клопы немилосердно кусали Петю, за стеной раздавался плач девочки, у которой был нарыв на пальце.

Уже светало, когда Петя наконец заснул, и заснул так крепко, что не слышал, как ушла большая часть ночлежников. Проснувшись, он увидел, что в комнате, кроме него, было всего три человека. Рабочий, собиравшийся в деревню, переговаривался через перегородку с Кондратьевной и описывал ей преимущества деревенской жизни перед городской; старик, кричавший во сне, обвязывал грязными тряпками свои больные ноги, молодой парень лет восемнадцати потягивался на матраце и с любопытством поглядывал на Петю, который и наружностью и по чистой одежде резко отличался от обычных посетителей ночлежного приюта. Заметив его устремленный на себя взгляд, Петя заговорил с ним и рассказал ему, что ищет какого-нибудь места.

– Вот охота жить на месте! – отозвался парень: – работать целый день, угождать хозяевам, одна скука. Пойдем лучше со мной на вокзал, там всегда заработаешь копеек двадцать-тридцать в день, кому извозчика позовешь, кому поможешь что снести, по крайности делаешь, что хочешь, никто тобой не помыкает.

– Ну, ты, Сенька, не сбивай мальчика с толку, – отозвалась Кондратьевна. – Это что за жизнь шляться около вокзала, один день сыт, да два голоден, ему надо порядочное место, чтобы он от работы не отвыкал.

– Я вот что тебе скажу, Петруша, так тебя, кажись, звать? – продолжала она, входя в комнату: – попробуй ты зайти в типографию, ты грамотный, тебя могут взять в наборщики. У меня знакомый наборщик сорок рублей в месяц получает, Павел Николаев; ты ему скажи, что от меня пришел, он за тебя похлопочет, поместит тебя.

Петя от души поблагодарил добрую Кондратьевну и, расспросив у нее, как найти типографию, направился прямо туда.

Типография помещалась на одной из главных улиц города. Не без робости вошел Петя в большую комнату, где за какими-то высокими, как ему показалось, столами работало человек 20. Узнав, что он прислан Кондратьевной, один из этих рабочих, Павел Николаев, пожилой человек степенной наружности, одетый в серую блузу, подпоясанную ремнем, подошел к нему, отвел его в дальний угол комнаты, расспросил его, какой работы он ищет, что умеет делать, и обещал тотчас же сходить к управляющему попросить, чтобы его приняли в типографию учеником. Через четверть часа он принес удовлетворительный ответ: управляющий поручил ему испытать Петю и, если он окажется способным, соглашался принять его в типографию.

Павел Николаев подвел мальчика к одному из «столов» и показал ему так называемую «кассу», большой ящик, разделенный на клетки, в которых помещались буквы.

– Вот тебе урок до обеда, – сказал он ему, – смотри, какая буква где лежит и запоминай, а я потом спрошу.

Петя вынул из одной клетки маленький металлический брусочек и с недоумением вертел его в руках. С большим трудом, близко поднеся его к глазам, рассмотрел он на нем очертание буквы п. На другом брусочке ему оказалось еще труднее найти м. Полчаса перебирал он в руках брусочки один за другим и все не мог присмотреться к буквам настолько, чтобы легче узнавать их.

– Ты чего так смотришь, разве ты плохо видишь? – обратился к нему Павел Николаев, заметив на лице его выражение недоумения.

– Нет, я вижу, только я близорук немножко! – смущенно отвечал Петя.

– Чего там немножко? – подхватил рабочий, стоявший всех ближе к Пете, – видел я, как ты чуть не носом тыкался в кассу. Ну, скажи, что у меня в руке?

Петя видел что-то белое.

– Платок!.. – нерешительно проговорил он.

Рабочие громко рассмеялись.

– Как же ты идешь в наборщики, – сказал один из них, – когда за три шага листа газеты не видишь?

– Нет, брат, – прибавил другой, – у нас работать нужны глаза да и глаза; слепым нечего тут делать!

Петя с умоляющим видом посмотрел на Николаева.

– Жаль мне тебя, – сказал тот, – а надо правду говорить, в нашем ремесле с плохими глазами ничего не поделаешь. Не стоит тебе и начинать. Только время потеряешь, да еще, пожалуй, и совсем ослепнешь.

– Неужели же вы меня не возьмете? – чуть не со слезами в голосе спросил Петя.

– Я бы душой рад тебя пристроить, – отвечал Николаев, которому, видимо, искренне жаль было мальчика, – да никак невозможно. Управляющий ни за что не возьмет тебя, а хотя бы и взял, ты сам потом не рад будешь.

Петя стоял, грустно опустив голову, и не решался уйти из типографии. Он так надеялся несколько минут тому назад! И неужели опять ходить по улицам без пристанища, слушать суровые отказы, насмешки?..

– Не тоскуй, мальчик, не Бог знает какая сладость жизнь наборщика, – сказал один из рабочих, добродушно похлопывая его по плечу, – ты, может, что и получше найдешь. Иди себе, а то придет управляющий, забранит Николаева, что оставил тебя.

Петя грустно попрощался с наборщиками и побрел по улице без всякой цели, сам не зная в какую сторону повернуть.

Глава X

Для Пети начался ряд тяжелых, мучительных дней. Его мечта легко найти заработок рассеялась. В городе много было работы всякого рода, но еще больше людей, ищущих этой работы, людей сильных, здоровых, искусных, с которыми он не мог сравняться. Каждый вечер, приходя ночевать к Кондратьевне, он чувствовал все более и более уныния, утром ему все тяжелее и тяжелее было начинать бесполезные поиски. Денег у него уже не было ни копейки, он продал понемногу и все белье, какое принес с собой в узелке, и свое драповое пальто, перешитое из старого гимназического.

– Что, паренек? Кажись, плохо тебе приходится? – участливо спрашивала Кондратьевна, глядя на его исхудалое, осунувшееся лицо. – Вернись-ка ты лучше с повинной домой. Авось, отец с матерью не расказнят.

Домой?.. Нет, об этом Петя не мог подумать без ужаса; уж лучше умирать с голода, чем опять выслушивать упреки матери.

Видя, что он не хочет или не может послушать ее совета, Кондратьевна принялась хлопотать о каком-нибудь местечке для него и раз вечером с торжеством объявила ему, что ее знакомый трактирщик согласен взять его к себе половым. Не очень приятной казалась Пете роль слуги в трактире, но он утешал себя мыслью, что это даст ему возможность прокормиться хоть несколько недель, пока отыщется что-нибудь получше. Три дня не приходил он ночевать к Кондратьевне, и она радовалась, что, наконец, пристроила-таки бедного мальчика; но на четвертый вечер она снова услышала его робкую просьбу: «позвольте мне постель», снова увидела его бледное, изнуренное личико.

– Это что же значит? Опять ты здесь? – вскричала она.

– Опять, – унылым голосом проговорил Петя; – не угодил я хозяину, говорит, я нерасторопный, неловкий… я старался… сегодня только беда вышла, два стакана разбил, он рассердился, прогнал…

Кондратьевна покачала головой.

– Экий ты неудачный какой! – заметила она: – ни в чем тебе нет счастья!

Петя и сам с каждым днем все более и более убеждался, что ему ни в чем нет счастья, ни в чем нет и не может быть удачи. Он попробовал по совету Сеньки заработать что-нибудь на вокзале, но и к этому оказался неспособен. Сенька и несколько других мальчиков, постоянно находившихся там при приходе и отходе поездов, умели ловко подскочить к пассажирам и вовремя предложить им свои услуги, а он то робел и боялся выдвинуться, то с мужеством отчаяния бросался вперед, кого-нибудь толкал, кому-нибудь наступал на ноги и от всех слышал только брань да сердитые окрики. Опять несколько дней не ночевал он у Кондратьевны, нечем было заплатить за ночлег и он принужден был спать на голой земле в городском саду, прячась от сторожей за кустами. Питался он одним только хлебом, но, наконец, и хлеба не на что было купить.

– Неужели и вправду придется умирать с голоду? – с каким-то тупым отчаянием спрашивал он самого себя.

На выручку явился Сенька.

Узнав, что Петя ничего не ел накануне, и что ему не на что купить себе даже куска хлеба, он расхохотался.

– Экий ты, брат, дурень! – вскричал он: – одет франтом, а голодуешь! Разве умные люди делают так?

Петя с недоумением оглядел свой наряд. Как далек он был от франтовства! На высоких сапогах, подаренных ему Филимоном Игнатьевичем, появились дыры, темный триковый казакин его порыжел и залоснился, панталоны начали протираться.

– Нет, друг милый, ты еще не знаешь нужды, коли ходишь в сапогах, да снявши платье на ночь, остаешься в рубашке, – продолжал Сенька. – Ты прежде проешь все, что на тебе лишнего надето, да потом уж и плачься на бедность.

– Как же так проесть? – недоумевал Петя.

Сенька услужливо взялся помочь ему и через час он действительно освободился от всякой лишней одежды: на нем оказалось, всего-навсего, старая ситцевая блуза, заплатанные нанковые панталоны и дырявые сапоги, с обрезанными голенищами, но зато в кармане его лежала трехрублевая бумажка – голодная смерть была отсрочена на несколько дней. Опять он мог идти ночевать к Кондратьевне, и после нескольких ночей, проведенных под открытым небом, ему представлялось необыкновенно приятно протянуться на жестком соломенном тюфяке в ее низкой и грязной комнате. Кондратьевна с первого взгляда поняла, отчего Петя не был у нее эти дни, и стала пенять ему.

– Неужели ты думаешь, я бы тебя не пустила без пятака, – говорила она. – Не разбогатею я с твоих пятаков; смотри, другой раз не затевай пустяков, будут у тебя деньги – плати, а нет – не надо, найдется у меня для тебя угол.

Петя со слезами на глазах поблагодарил добрую женщину. Дома ему тяжело было, когда мать называла его дармоедом, попрекала тем, что он не может сам себе заработать куска хлеба, а вот он и в самом деле дойдет скоро до того, что чужие люди будут из милости давать ему приют.

Прошла еще неделя. Раз вечером Петя, подходя к домику Кондратьевны, заметил, что она стоит у ворот.

– Иди, иди скорей! – закричала она ему: – радость тебе скажу. Нашла для тебя местечко. Сейчас заходил ко мне садовник, знаешь, что на углу Мокрой, просит, не знаю ли я кого ему в помощники, он добрый, славный старик, тебе у него будет хорошо, я обещала, что ты придешь завтра утром.

Можно себе представить, с какой готовностью пошел на другой день Петя на угол Мокрой улицы. Садовник оказался почтенный, добродушный старичок с седенькой бородкой и веселыми голубыми глазками. Он принял Петю очень ласково.

– До нынешнего года я сам всю работу справлял, – сказал он, – а зимой прихворнул, да как-то сразу всей силы и лишился, теперь без помощника не могу. Ты у меня поработай, а я тебя не оставлю. Пища тебе у нас будет хорошая, и жалованье положу, какое следует, старуха у меня добрая, будешь у нас жить не как работник, а как свой человек.

Пете очень понравился его новый хозяин и маленький домик в саду, где он жил с женой-старушкой, такой же белой и морщинистой, как он сам, и сад с чистыми, прямыми дорожками и бесчисленным множеством самых разнообразных цветов. Работа, которую поручил ему на первый раз садовник, была нетрудная: он должен был выполоть сорную траву из нескольких грядок гвоздики и резеды. Вследствие своей близорукости он наклонялся очень низко, чтобы различить то, что нужно вырвать, и работа у него шла медленно, но зато он исполнил ее совершенно аккуратно, так что садовник похвалил его. После сытного, вкусного обеда ему предстояло дело потруднее: он должен был железным скребком счищать траву с дорожек и на ручной тачке свозить сор в овраг за домом. Первые полчаса, час Петя проработал довольно бодро, но затем он почувствовал сильнейшую усталость. День был жаркий, солнце жгло ему голову и спину, пот крупными каплями выступал на лбу его; руки его ослабели; скребок его срезал траву, а не вырывал ее с корнем. Садовник подошел к нему.

– Э, нет! Ты не ладно делаешь! Вот как надобно! – заметил он и принялся работать рядом с мальчиком.

В его привычных руках дело так и кипело. Пете стыдно было отставать, и он напрягал все силы, чтобы получше действовать своим скребком. Он не хотел показать хозяину, как это ему страшно трудно, и работал, изнемогая от усталости.

– Ну, будет, – сказал, наконец, садовник, подходя с своим скребком к концу третьей дорожки, – остальное доделаем завтра, теперь давай тачку, я свалю в нее сор, а ты свези его в овраг за домом.

Петя подкатил тяжелую тачку и старик навалил ее доверху травой, вырытой с дорожек.

– Вези, да, смотри, осторожно, не вывали дорогой.

Садовник и не догадывался, как тяжело было бессильному Пете исполнить его поручение. Он бодро принялся подметать вычищенные дорожки и не заметил, что мальчик еле передвигает ноги и беспрестанно останавливается, чтобы перевести дух. Дотащившись кое-как до оврага, Петя не в силах был перевернуть тачку, а сам повалился рядом с ней в густую траву. Руки, ноги и грудь его ломило, он чувствовал страшную слабость во всем теле. С полчаса пролежал он таким образом, с закрытыми глазами, не шевеля ни одним членом, точно мертвый.

– Петя! Петр! – послышался голос садовника: – да куда же это он запропастился?

Петя встал, собрал все свои силы, чтобы опрокинуть тачку и покатил ее обратно в сад.

– А я боялся уж, не слетел ли ты и сам в овраг – засмеялся хозяин на встречу ему. – Ну, поставь тачку в шалаш, да давай цветы поливать, жара бедовая, того гляди все посохнет!

Боже мой! Опять работать, не отдохнуть ни минуты!

Целых два часа должен был Петя таскать большие лейки с водой от водопровода, находившегося посредине улицы, до сада и выливать их на цветочные клумбы. Беспрестанно казалось ему, что больше он не может сделать ни шагу, что он вот-вот сейчас упадет, но садовник работал рядом с ним, делал то же, что он, и притом делал, по-видимому, так легко и свободно, что у него не хватало духу сознаться в своей слабости. Зато, когда последний куст был полит, садовник с видимым довольством сказал:

– Ну, будет, я уберу лейки; хозяйка, поди, уж ждет нас с ужином!

Но Петя не в силах был дойти до кухни, откуда доносился приятный запах кушанья, не в силах был даже думать о пище, а тотчас же направился в маленькую каморку в сенях, предназначенную служить ему спальней, и замертво повалился на постель, приготовленную для него заботливой хозяйкой.

– Что же твой работник не идет ужинать? – спрашивала старушка садовница у своего мужа: – каков он в работе?

– Кажется, слабенек, – отвечал садовник, – истомился, должно быть, спать лег, может поправится у нас на хорошей пище, мальчик он старательный, понравился мне.

Проснувшись на следующее утро, Петя чувствовал слабость во всем теле и сильную боль в плечах.

«Это с непривычки, может обойдется!» – утешал он себя.

Когда за завтраком хозяйка стала приветливо уговаривать его поесть побольше, чтобы набраться сил, а хозяин заметил, что нарочно не будил его, дал ему вдоволь выспаться, ему страстно захотелось, чтоб «обошлось», чтобы у него хватило сил работать с этим добрым стариком.

Илья Фомич правду сказал жене, что Петя понравился ему. Он видел, как мальчик тщательно старался скрывать свою слабость, как он был прилежен и терпелив, ему стало от души жаль его.

«Ишь он какой дохлый! – думал старик, глядя на бледного, тщедушного мальчика, – с него нельзя требовать, как с другого, пусть себе живет у нас да поправляется, я ведь пока что и сам могу работать».

И он стал поручать Пете только самые легкие работы, все же трудные делал сам. Петя не замечал великодушной хитрости своего хозяина и чувствовал себя отлично. Здоровая пища и легкая работа на свежем воздухе укрепляли его силы, доброе, ласковое обращение старичков успокаивало и бодрило его. Так прошло недели две.

Настасья Марковна стала замечать, что муж ее возвращается домой из сада очень усталый, часто за ужином и за обедом ест неохотно и сидит молча, чего с ним прежде не бывало, а утром с большим трудом поднимается с постели.

– Что с тобой, Фомич, – приставала она к нему, – не болит ли что у тебя? Не сходить ли тебе к доктору?

Илья Фомич нетерпеливо отвечал, что совершенно здоров и совсем не намерен лечиться, но щеки его все более бледнели, а веселые глазки тускнели.

В субботу вечером происходила обыкновенно уборка сада; при этом Петя только обрезал сухие ветки и листья да подметал дорожки, а Илья Фомич и копал, и чистил, и вывозил прочь негодную траву и таскал воду для поливки: принеся последнее ведро воды, старик вдруг почувствовал себя дурно.

– Полей… Немного осталось… – слабым голосом сказал он мальчику, – а я пойду… – и он, шатаясь, направился к дому.

Петя принялся доканчивать поливку сада, но внезапная болезнь хозяина встревожила его. Он наскоро вылил лейку воды на последнюю грядку и пошел к дому. Ни в кухне, ни в чистой горнице хозяев не было, но в спальне слышались голоса. Петя остановился, чтобы послушать, что говорит хозяин о своей болезни.

– Не брани его, – услышал он ослабевший голос Ильи Фомича, – он не виноват, он мальчик добрый, только силенки у него не хватает. Я лишнее поработал, устал, это не беда, отдохну, пройдет.

– Как не беда! – озабоченно отвечала Настасья Марковна: – помнишь, что тебе говорил доктор зимой, работать можно, только не утомляться, а ты, смотри, сам на себя не похож стал.

– Жаль мне мальчика-то, – снова заговорил Илья Фомич, – куда он пойдет, коли мы его отошлем?

– Жаль, что и говорить, – согласилась Настасья Марковна, – а все же своя жизнь дороже…

Петя не слушал больше. Он выбежал из комнаты и запрятался в самый дальний угол сада.

В висках его стучало, судорога сжимала ему горло.

Правду говорила Кондратьевна: нет ему счастья, нет ему удачи на свете!.. Первый раз пришлось ему встретить истинно добрую семью людей, с которыми приятно бы пожить; они приняли его приветливо, приютили, приласкали, и что же? Он приносит им горе, чуть ли не смерть! Что ему теперь делать? Сказать Илье Фомичу, что он все слышал, что он не даст ему больше работать за двоих, а сам будет все делать… Но ведь у него не хватит сил, он опять будет падать и изнемогать, как в первый день. Нет, бедному старику нужен здоровый, сильный работник, чтобы он мог отдохнуть, поберечь свое здоровье. Остается одно – уйти, уйти поскорей, не сказавши отчего, а то станут удерживать, отговаривать и, пожалуй, удержат. Ведь здесь так хорошо, в этом саду, в этом мирном домике. А там на улице опять бесприютность, опять это мучительное искание работы…

Он закрыл глаза руками и не мог сдержать рыданий, которые вырвались из груди его. Несколько минут просидел он таким образом, потом быстро встал и с решительным видом направился к калитке сада. Вещей у него никаких не было, так что ему нечего было уносить с собой; паспорт он решил оставить пока у Ильи Фомича.

– Понадобится – так зайду! – подумал он и быстро вышел из сада, боясь оглянуться, чтобы не переменить своего намерения, не ослабеть, не вернуться назад…

Глава XI

Долго шел Петя, сам не замечая куда, по каким улицам. Вдруг он вздрогнул: бессознательно, как-то сами собой, ноги принесли его к домику Кондратьевны.

«Нет, нет, не сюда, к ней-то уже мне ни за что нельзя!» – почти с ужасом подумал мальчик и быстро повернул в другую сторону. Пройдя несколько улиц и переулков, он очутился за городом, на берегу реки. Солнце уже зашло, на западе рдела заря, от реки тянуло свежим ветерком. Петя опустился на траву. Здесь ему нечего бояться, что его удержат, вернут, здесь он один… Все тихо кругом, только в траве стрекочет кузнечик, да в кустах еще возятся и щебечут птички, размещаясь на ночной отдых. Вид природы в тихий летний вечер не произвел успокаивающего действия на душу мальчика. Напротив, самые тяжелые, мучительные мысли осаждали его.

Опять остался он без приюта, но теперь ему еще хуже, чем прежде. У него нет ни копейки денег, никакой одежды, кроме ситцевой рубашки, подаренной ему Настасьей Марковной, главное, нет ни одного друга, никого, кто пожалел бы его, помог ему, посоветовал, утешил… Вернуться домой?.. Об этом нечего думать. Мороз подирал его по коже, когда он представлял себе, как покажется на глаза отцу и матери, братьям и сестрам, что станут говорить и они, и все их соседи, когда он явится к ним нищим. Опять искать работы в городе?.. Но вот уже два месяца как он ее ищет, и все напрасно… Для него нет работы, нет дела! Куда, к кому он ни обратится, везде он лишний, никому ненужный!.. Хоть бы умереть! Все говорят, что он слабый, болезненный, а он все жив и даже здоров… Умереть… Как бы хорошо! Кончились бы все страдания… Тогда и мать с отцом простили бы его, мертвых не бранят… Умереть…

Он сошел к самой реке… Светлая, прозрачная вода тихо струилась у ног его…

Петя набожно перекрестился несколько раз и занес ногу в воду… Вдруг над самой головой его наверху обрыва раздался плач и детский голос, прерываемый рыданиями:

– Помогите! Кто-нибудь придите, помогите!..

Петя вздрогнул… Он вбежал на крутой берег. Недалеко от того места, на котором он сидел за несколько минут, стоял мальчик лет одиннадцати, беспомощно протягивая вперед руки.

– Что ты кричишь? Что тебе нужно? – спросил у него Петя.

– Я не знаю, где я, проводите меня! – рыдал ребенок.

Теперь только Петя заметил, что бедный мальчик слеп.

«Вот еще несчастный, пожалуй, еще несчастнее меня», – мелькнуло в голове его.

– Куда же тебя вести? Где ты живешь? – спросил он.

– В приюте для слепых, на Московской улице, знаете?..

– Знаю, я видел вывеску приюта, пойдем.

Мальчик доверчиво положил свою руку в Петину и пошел с ним назад в город. Дорогой он рассказал, каким образом очутился один в пустынном месте. Оказалось, что один купец, знакомый его покойного отца, взял его к себе погостить на несколько дней и затем отослал его назад в приют с мальчиком, служившим у него в лавке. Мальчику показалось скучным вести слепого; он завел его в какой-то переулок и велел ему ждать себя там, а сам побежал играть с товарищами. Слепой соскучился дожидаться, надеялся, что найдет дорогу ощупью и пошел один, но повернул не в ту сторону, в какую следовало, и очутился за городом.

– Плохо быть слепым! – вздохнул он, заканчивая свой рассказ, – кажется, хуже этого и быть ничего не может.

– Бывает и хуже! – сквозь зубы заметил Петя. – Ты в приюте и сыт, и одет, и ремеслу тебя какому-нибудь выучат, а другой и с двумя глазами да без куска хлеба сидит.

Слепой остановился и быстро провел рукой по лицу и по платью Пети.

– Это ты без хлеба? – спросил он с любопытством и участием в голосе.

– Может, и я! – мрачно отвечал Петя. – Идем скорей, чего стоять посередине улицы, уж поздно.

Мальчик замолчал и прибавил шагу. Через несколько минут они подошли к деревянному дому, на котором виднелась вывеска: «Приют для слепых».

От улицы дом отделялся палисадником, из которого был ход прямо на небольшую террасу вокруг трех средних окон нижнего этажа. На этой террасе сидел мужчина средних лет и курил сигару, видимо наслаждаясь прелестью летней ночи.

Он увидел приближавшихся мальчиков.

– Миша, это ты? – позвал он: – что так поздно?

Слепой почти побежал на звук знакомого голоса, увлекая за собой своего провожатого.

– Еще бы не поздно! Если бы вы знали, Дмитрий Васильевич, что со мной случилось, – и он начал взволнованным голосом рассказывать, как его бросил дрянной мальчишка, как он чуть не умер от страха и как он обрадовался, когда с ним заговорил «этот добрый человек».

Дмитрий Васильевич проворчал что-то насчет бессердечия людей вообще и детей в особенности и затем, обращаясь к Пете, поблагодарил его за услугу, оказанную бедному слепому. Несмотря на ночную темноту, он заметил бедную одежду Пети и, вынув из кармана двугривенный, протянул ему монету. Петя вспыхнул до корней волос. Это была милостыня, а он до сих пор, несмотря на всю свою нищету, ни разу не просил милостыни.

– Не надо, ничего мне не надо… Я не для того… – проговорил он, отстраняя монету.

– Чего не надо? – вмешался Миша: – ты мне говорил, что у тебя нет куска хлеба! Тебе наверно надо поесть.

Слова Миши и отказ Пети от монеты заставили Дмитрия Васильевича заинтересоваться бедняком, стоявшим перед ним.

– Дети собираются ужинать, – ласково сказал он ему, – если хотите, поужинайте с ними; если вы живете далеко, вам можно и переночевать у нас; у нас много места.

От этого приглашения Петя не имел сил отказаться. Теперь уже Миша повел его с террасы прямо в комнату, где за длинным столом сидело человек двенадцать мальчиков от десяти до шестнадцати лет. Они не могли видеть Петю, но по шуму шагов узнали, что с Мишей вошел «кто-то чужой», и забросали своего маленького товарища вопросами: «Кто это? Зачем пришел? Не слепой ли?» Миша и им рассказал случившуюся неприятность и рассказал гораздо подробнее, чем Дмитрию Васильевичу. При этом он не забыл передать поразившие его слова Пети, что есть люди несчастнее слепых, и что им, слепым, хорошо жить в приюте, где они и сыты, и одеты, и учатся ремеслу. Между тем подали ужин, вошел Дмитрий Васильевич и стал раскладывать всем мальчикам их порции. Петя с удивлением видел, как слепые поочередно вставали, твердыми шагами подходили к директору и, получив от него свою тарелку с кушаньем, точно так же твердо, не сталкиваясь друг с другом, не натыкаясь на мебель, возвращались к своим местам. Ему Дмитрий Васильевич наложил вдвое больше, чем другим, но после всех пережитых в этот вечер волнений он не чувствовал голода; час тому назад он, там, на берегу реки прощался с жизнью, и вдруг он здесь, в этой освещенной зале, среди каких-то странных детей, далеко не похожих на обыкновенных… Все это походило на какой-то волшебный сон!..

За ужином слепые не переставали болтать. Появление чужого человека среди них было редкостью, и они бесцеремонно ощупывали Петю и расспрашивали его о его жизни. Пете, конечно, не было ни малейшей охоты подробно рассказывать этим совсем посторонним мальчикам все, что он пережил; чтобы занять их, он стал описывать им деревню, где родился, и свою бабушку, которая была так же слепа, как они и, несмотря на это, не чувствовала себя несчастной.

– Она верно научилась всем своим работам, когда еще хорошо видела, – заметил один из старших мальчиков; – к нам ходит мастер, который учит нас плести корзины, но нам это очень трудно.

– Не знаю, – отвечал Петя, – когда я был маленький, бабушка меня учила разным работам, и я умел их делать, почти не глядя на руки. Я очень любил бабушку, и мне даже хотелось быть слепым, чтобы походить на нее.

– А теперь вы можете делать эти работы? – спросил Дмитрий Васильевич, прислушивавшийся к разговору мальчиков.

– Право, не знаю, я давно не пробовал; если бы у меня была солома или прутья, я, может быть, и вспомнил бы.

После ужина мальчики повели Петю в свою классную комнату, показали ему книги, напечатанные нарочно для слепых крупным выпуклым шрифтом и хвастали, что умеют читать. Действительно, они так быстро водили пальцами по строкам и осязание их было так тонко, что они разбирали слова не хуже и не медленнее зрячих. Петя попробовал также ощупью узнавать буквы, но беспрестанно ошибался, что очень смешило маленьких слепых.

– Не понимаю, отчего вам трудно плести корзины, когда вы можете так хорошо читать! – вскричал Петя.

– Это оттого, что читать и писать нас учит Дмитрий Васильевич, – объяснил один из старших мальчиков, – он умеет учить, а плести показывает нам один корзинщик, мы у него ничего не понимаем.

– Вот посмотрите, как мы плетем! – прибавил другой мальчик, доставая из большого шкафа в углу комнаты грубую корзину, до половины сплетенную, видимо, очень неумелыми руками.

– Да, это не очень хорошо! – согласился Петя. – Вы замечаете, в чем нехорошо? – обратился он к старшему мальчику и, взяв его руки, заставил его ощупать все неровности работ.

– Замечаю, замечаю! – вскричал тот: – но как же это исправить?

Петя вспомнил все те приемы, посредством которых учила его слепая бабушка и с помощью них показал мальчику, как сделать плетенье ровным и чистым. Мальчик относился очень внимательно ко всем его указаниям, и когда через полчаса Дмитрий Васильевич пришел звать детей ложиться спать, он с торжеством показал ему свою работу. Дмитрий Васильевич внимательно осмотрел ее и затем обратился к Пете с вопросом: «очень ли он устал, может ли подождать пока дети улягутся и тогда поговорить с ним?» Хотя Петя чувствовал и усталость, и желание поскорее остаться одному, чтобы придти в себя от разнообразных впечатлений этого дня, но он, конечно, охотно согласился ждать Дмитрия Васильевича. Через полчаса, убедившись, что все его воспитанники спокойно лежат в постелях, директор вернулся к Пете.

– Я заметил за ужином, – сказал он ему, усадив его на стуле против себя, – что вам было неприятно отвечать на расспросы детей, но со мной вы можете быть менее скрытным. Я буду спрашивать вас не из пустого любопытства. Скажите, отчего вы не живете с родителями? Чем вы занимаетесь?

Серьезное и в то же время приветливое обращение Дмитрия Васильевича внушало доверие. Пете нечего было таиться и он в кратких словах рассказал всю свою историю…

– Вот что я вам скажу, – заговорил Дмитрий Васильевич, молча выслушав его рассказ, – я давно ищу кого-нибудь, кто выучил бы мальчиков полезным ремеслам, но никак не могу найти подходящего человека. Выписывать знающего мастера из Петербурга или из Москвы слишком дорого, средств у приюта немного, его содержит на свои деньги один купец, который и так достаточно пожертвовал для него, а здешние мастеровые совсем не умеют обращаться со слепыми, они сами хоть и порядочно работают, но выучить чему-нибудь, особенно

слепого, никак не могут. Поживите у нас и попробуйте заняться с мальчиками. Я видел, как вы сегодня учили Федю. У вас есть к этому способность. Ну, что, согласны?

Слушая слова Дмитрия Васильевича, Петя то краснел, то бледнел. Неужели это не сон, а правда? От волнения бедный мальчик не мог усидеть на месте. Он вскочил со стула и смотря растерянными глазами на Дмитрия Васильевича, как-то бессмысленно бормотал.

– Я что же… Я ничего… Я конечно согласен…

Дмитрий Васильевич улыбнулся.

– Ну и чудесно, – сказал он, ласково потрепав Петю по плечу. – Значит, с завтрашнего дня вы мой помощник. Я поговорю о вас Захару Степановичу, это учредитель приюта, – большого жалованья он вам на первое время не назначит, но вы, как видно, человек не прихотливый, будете довольны. А теперь пора спать. Завтра в семь часов встают дети, в восемь они пьют молоко, а я чай, вы можете получить и того и другого, если захотите. Я проведу вас в спальню; сегодня ложитесь с детьми, там есть свободная кровать, – у нас еще две вакансии не заняты, – а завтра я вам устрою отдельную комнату.

Он провел Петю в большую спальню, где в два ряда стояли кровати слепых мальчиков. Две кровати в заднем углу комнаты были свободны и на одной из них, покрытой грубым, но чистым бельем, Дмитрий Васильевич предоставил Пете расположиться на ночь.

Неужели это не сон, неужели это правда? – неотступно вертелось в голове мальчика, когда он прислушивался к мерному дыханию спавших, когда он при слабом свете ночника видел очертания кроватей и лежавших на них детских фигур. «Должно быть, это сон, я сейчас проснусь… увижу Кондратьевну, Сеньку»… Но вместо того, чтобы проснуться, он в самом деле заснул, не успев дать себе отчета в той удивительной перемене, какая произошла в судьбе его в этот день.

Глава XII

Прошло двенадцать лет. В барском доме Медвежьего Лога господствовало оживление. Там опять проводили лето владельцы имения – не Федор Павлович и Александра Петровна, они оба уже умерли, а молодые наследники их, Виктор Федорович и Борис Федорович Красиковы.

Оба они давно уже не были в деревне. Виктор Федорович приобрел известность, как необыкновенно ловкий и красноречивый адвокат. Борис Федорович, окончив университетский курс, получил хорошее место в одном из министерств.

В ясный июньский вечер оба брата сидели с сигарами в руках на террасе, обвитой хмелем и диким виноградом. В некотором отдалении от них помещался молодой человек, одетый в полу деревенский, полугородской костюм, пиджак, застегнутый на все пуговицы, и широкие панталоны, засунутые в высокие сапоги. В этом степенном, почтительном на вид человеке нам трудно узнать озорника Федюшку, а между тем Федор Иванович был теперь уже управляющим имением. Молодые господа толковали о разных хозяйственных делах, как вдруг Виктор Федорович вспомнил о Пете.

– Ах, послушайте, – перебил он словоохотливую речь управляющего, – ведь у вас, помнится, был еще брат, кажется, Петром его звали, скажите, пожалуйста, что с ним сделалось?

Федор Иванович как-то безнадежно махнул рукой.

– Уж и не спрашивайте, – грустно сказал он, – именно, как говорят, в семье не без урода, совсем неудачный вышел…

– Что же с ним? Спился? Проворовался?

– Нет, от этого Господь спас, а только посейчас не сумел он пристроиться, как следует. Такой бесталанный. Ваш покойный батюшка, царство ему небесное, хотел ему добро сделать, наукам обучить, он не воспользовался; потом Филимон Игнатьевич его к своей торговле приучал, и того он в понятие не взял. Теперь, слышим, живет в Н. в каком-то приюте для слепых, обучает их, значит… Прошлым летом приезжал повидаться с нами, ничего у него нет, ни из одежи, ни из вещей, жалованьишко ничтожное получает, так себе, только что с голоду не помирает…

– Экий бедняк!.. Я помню, он, когда у нас еще мальчиком жил, и тогда был какой-то простоватый, – заметил Борис Федорович.

– Простоват-то он простоват, – вздохнул Федор Иванович, – да и удачи ему как-то нет. Так уж несчастным родился.

Неужели в самом деле Петя заслуживал эти сожаления, неужели в самом деле он был несчастным? Федор Иванович сказал правду, жалованье он получал небольшое, не накопил себе ни денег, ни вещей, но если бы вы увидели его в ту самую минуту, когда о нем шла речь на террасе господского дома Медвежьего Лога, право, вы не сказали бы, что он несчастлив, не пожалели бы его. В течение двенадцати лет приют для слепых в городе Н. разросся, многие благотворители приняли участие в добром деле Захара Степановича и теперь в приюте воспитывалось до пятидесяти мальчиков. Дмитрий Васильевич должен был пригласить еще двух помощников для присмотра за детьми и для занятий с ними, но их любимым учителем был и оставался Петр Иванович. В тот июньский вечер, о котором мы начали говорить, в приюте был праздник: трое слепых, окончивших курс в приюте, открыли вместе самостоятельную мастерскую всяких плетений из соломы и тростника и, получив накануне очень выгодный заказ, пришли поделиться радостью со своими бывшими учителями и товарищами. Дмитрий Васильевич устроил им скромное угощение: в палисадник вынесли длинный стол и поставили на него тарелки с пирогом, с холодным мясом и недорогими закус-

ками да две-три бутылки дешевого вина. Учителя и старшие воспитанники шумно пили за процветание новой мастерской и за здоровье ее молодых хозяев.

– А теперь, господа, – громко провозгласил Дмитрий Васильевич, – я предложу тост, который наверно будет всем вам по душе. Выпьем за здоровье того, кто первый ввел в наш приют занятие ремеслами и сумел так хорошо поставить это дело. Выпьем за здоровье нашего дорогого Петра Ивановича!

– Здоровье Петра Ивановича! Ура! Петр Иванович! Ура! На многие лета здоровья! – закричали все присутствующие, и далеко по тихой улице пронесся этот крик…

Петр Иванович краснел, маленькие глазки его слезились, ему хотелось чем-нибудь выразить свою благодарность. От волнения он мог пробормотать только несколько несвязных слов, но некрасивое лицо его сияло полным счастьем.

Да, он не нажил ни богатств, ни чинов, ни важного положения в обществе, дело его скромное, невидное, но оно ему по душе… Он пользуется любовью и уважением окружающих, он приносит пользу людям, обделенным судьбой еще больше, чем сам он, можно ли жалеть его, называть его неудачником!..

Без роду, без племени

Глава I

Темная осенняя ночь кончалась, был шестой час утра. Город только что начал просыпаться. Магазины и ворота домов еще заперты.

Экипажей почти не слышно, разве с шумом проедет телега какой-нибудь торговки, отправляющейся на базар с картофелем или молоком. Пешеходов тоже встречается мало: то пройдет трубочист, еще не успевший покрыться слоем сажи, то прошмыгнет с корзиной на руке кухарка или хлопотливая хозяйка, спешащая на базар за покупками, то, тяжело ступая, пройдет толпа фабричных рабочих.

В большом доме, над воротами которого красуется черная с золотом вывеска: «Сиротский дом», также все тихо; только во дворе дворник приготовляется рубить дрова, да в верхнем этаже жалобно кричит больной ребенок, которого не могут успокоить ни укачиванья, ни шлепки няньки.

Во втором этаже, в так называемом «Старшем женском отделении», две большие комнаты заняты кроватями воспитанниц, девочек от семи до шестнадцати лет. На жестких тюфяках, под тощими одеялами крепко и спокойно спят дети. Одним ночь принесла сладкие сны: щеки их разгорелись, губы полураскрыты в улыбку; другие уткнулись головой в подушку и так крепко закрыли глаза, точно ни за что не согласны расстаться со сном.

Но вот большие часы в коридоре с шипеньем пробили шесть. На одной из кроватей, отделенной от прочих небольшими ширмами, поднялась всклоченная голова помощницы надзирательницы. Сон видимо одолевает ее, она с трудом может открыть глаза, но делать нечего – надобно исполнить тяжелую обязанность: она всовывает босые ноги в туфли, накидывает на плечи полинялую ситцевую блузу и, схватив колокольчик, стоящий на столе возле её постели, начинает с каким-то остервенением звонить в него. Самый крепкий детский сон не может устоять против этого резкого, неприятного звона. Девочки начинают шевелиться, некоторые открывают глаза и со вздохом осматриваются кругом, как бы удивляясь, что видят опять все то же, вчерашнее; другие, еще не очнувшись от сна, быстро вскакивают и хватаются за чулки, сами не понимая, что делают; третьи, наконец, крепче закутываются в одеяла, надеясь поспать еще хоть лишнюю минутку. Напрасная надежда. Ненавистный звон раздается над самым ухом их, грубая рука стаскивает с них одеяла: «Вставать, вставать скорее», кричит им помощница.

Мало-помалу звон и строгие приказания производят действие: все девочки поднялись и начали одеваться. Нерадостны первые впечатления, встретившие их утром: в комнатах холодно, небольшие керосиновые лампочки бросают тусклый свет на серые стены и низкий, закоптелый потолок; при этом свете все лица кажутся угрюмыми, болезненными. Немудрено, что трем-четырем девочкам захотелось еще хоть на несколько минут продлить утренний сон и, воспользовавшись временем, когда «помощница» ушла за ширмы, чтобы привести в порядок свой туалет, они снова юркнули под одеяла.

Минут через десять опять раздался резкий голос помощницы, и она сама появилась уже умытая, наскоро причесанная и одетая.

– Скорей, скорей, девочки, – кричала она. – Не копайтесь. Где дежурные? Малаша и Саша Большая – вам сегодня на кухню, Дуня и Паша – в классы, Ольга Петрова и Глаша Иванова – топить печи, Параша и Саша Малова – убирать спальню. Скорей, скорей. Дуня, чего ты целый час полощешься? Будет, вытирайся. Ольга, говорю, поворачивайся живей. А ты, Малаша, чего стала? – Слышала ведь: тебе дежурить на кухне.

– Да с кем же мне дежурить, Марья Семеновна? – спросила Малаша, высокая, полная девушка, лет семнадцати, жившая еще в приюте до приискания хорошего места в горничные. – Ведь Саша Большая в больнице, сами знаете.

– Ну, возьми кого-нибудь другого. Это что такое? Анна Колосова, ты еще валяешься, лентяйка. – Она быстро стащила одеяло с одной из девочек, заснувших, было, после звонка, и затем продолжала: – Вот ее и возьми. Смотри же, Анна, одеваться скорей. Ты сегодня дежурная вместо Саши Большой.

– С какой стати я дежурная, – протирая глаза, возразила та, – третьего дня я дежурила, и сегодня опять.

– Ты еще рассуждаешь. Без булки к чаю. А будешь копаться, Катерине Алексеевне пожалуюсь, она тебе покажет, как не слушаться.

Анна сердито сдвинула свои темные брови и, как только помощница отошла от неё, чтобы торопить других девочек, проговорила ей вслед несколько весьма нелестных прозваний.

А между тем в обеих комнатах происходил шум, суета. Девочки толкались перед большими медными умывальниками, каждой хотелось умыться прежде других, дежурные по спальне ворчали на тех, кто проливал воду на пол и не клал мыла на места; одетые стлали свои постели, при чем иногда в шутку бросали друг в друга подушками; одна девочка потеряла полотенце и приставала ко всем: «кто его взял?»; двое маленьких подрались из-за передника и преусердно тащили его каждая в свою сторону, пока Марья Семеновна не помирила их, дав каждой по чувствительному щелчку в лоб и приговорив обеих остаться без булки к чаю.

В половине седьмого все дежурные отправились исполнять свои обязанности.

При сиротском доме не полагалось прислуги; за исключением дворника, кухарки и двух прачек, всю остальную работу исполняли в младшем отделении няни, присматривавшие за малютками, в старших – сами воспитанники и воспитанницы. На каждую работу обыкновенно назначали двух девочек, – одну большую, лет пятнадцати-шестнадцати, другую поменьше, от десяти до четырнадцати лет; младшие же совсем освобождались от дежурств. Дежурные по кухне заваривали в огромном чайнике чай, который выдавала им надзирательница, разливали этот чай по кружкам и ставили к прибору каждой воспитанницы такую кружку вместе с куском ситного хлеба. Они же подавали кушанья за обедом и ужином, мыли и убирали посуду после каждой еды. Дежурные по спальне приносили воду для умыванья, выливали грязную воду, чистили умывальники, смотрели, чтобы все постели были убраны аккуратно, и вытирали шваброй пол. Третья пара дежурных топила печи и заправляла лампы во всем отделении, четвертая должна была приводить в порядок классную комнату, большую залу, служившую и столовой, и рабочей комнатой, широкий коридор и две комнаты главной надзирательницы. Эта обязанность особенно пугала девочек: надзирательница требовала от них ловкости и аккуратности настоящих горничных и за малейшую оплошность очень строго наказывала их.

Пока дежурные исполняли свое дело, остальные девочки должны были штопать чулки, зашивать свое белье и платье: новое выдавалось им редко, и потому в дырках требовавших починки, никогда не было недостатка.

В восемь часов все девочки собирались на общую молитву и затем садились за столы, на которые дежурные ставили кружки с жидким чаем, слегка побеленным молоком и почти без сахара. Из пятидесяти девочек, составлявших «старшее отделение», восемь лишены были в этот день утренней порции хлеба в наказание за ту или другую провинность. Они должны были пить чай стоя, чтобы все прочие, и в особенности главная надзирательница, видели, что они провинились.

Во время чая явилась эта главная надзирательница. Катерина Алексеевна Полозова была высокая женщина, сухая и желтая, внушавшая страх не только детям, но и всем, кому приходилось иметь с ней дело. Никогда она не сердилась, никто не слыхал, чтобы она возвысила голос, никто не видел краски гнева на её впалых щеках, но зато никто не слышал от неё слова участия и одобрения, никто не видел ласковой, приветливой улыбки. Со своими помощницами и с прислугой она была требовательна, суха, с воспитанницами – неумолимо строга.

– За что наказаны? – спросила она, подходя к столу и отвечая едва заметным кивком головы и на почтительный поклон помощницы и на единогласное громкое: «Здравствуйте, Катерина Алексеевна!» девочек.

Помощница поспешила подойти и отвечала не совсем твердым голосом:

– Глаша, Феня и Клавдя шалили вчера вечером в постели, Таня и Феклуша подрались сегодня утром, Матреша смеялась за молитвой, Даша не заштопала себе чулок, Анна нагрубила мне…

Катерина Алексеевна окинула холодным взглядом виновных.

– Пусть Матреша после обеда повторит все молитвы, а Даша заштопает два старых чулка, – проговорила она, ни к кому особенно не обращаясь. – А ты, как смеешь грубить? – спросила она у Анны.

– Я не грубила, – отвечала девочка, – а только она меня назначила дежурной, когда не мой черед, так я сказала…

– Ты говоришь дерзко, – остановила Катерина Алексеевна. – После чая поставить ее на два часа на колени, и чтоб она связала шесть дорожек чулка. Смотрите, чтобы все было в порядке. Сегодня приедет директор с новой надзирательницей…

– А вы разве уезжаете, Катерина Алексеевна? – робко осмелилась спросить помощница, подавляя радостный огонек, сверкнувший в глазах её, и стараясь придать лицу своему удивленно-испуганное выражение.

– Конечно. Я давно хлопочу избавиться от этой каторжной жизни, да все никак не могли найти на мое место, наконец, говорят, нашли…

Она сжала губы с нескрываемым презрением к своей преемнице и вышла из комнаты в сопровождении помощницы.

– Слышите, девушки, новая надзирательница, – закричали девочки, едва замолкли шаги уходившего начальства. – Уходит наша кикимора (это нелестное прозвище давно утвердилось за Катериной Алексеевной). Слава тебе, Господи. Ишь, говорит: «каторжная жизнь», а небось десять лет здесь жила… Ей с нами каторжная жизнь, а нам с ней сладко, что ли, было?

Девочки позабыли о недопитом чае, о недоеденных кусках булки, они повскакали с мест, шумели, волновались. Много труда стоило помощнице привести их в надлежащий порядок. Сама она была взволнована, может быть, не меньше их: перемена надзирательницы должна была отразиться и на её судьбе, но она привыкла сдерживать свои чувства, только на бледных щеках её выступили два красных пятна, руки её дрожали, и голос, которым она отдавала приказания, звучал раздражительнее, чем обыкновенно: «Маленькие в класс. Дежурные, скорей убирать посуду! Зачем встаете с булкой в руках? Уносите, уносите кружки. Кто не допил, тому и не нужно. Маленькие, не толкайтесь, идите попарно! Феклуша, ты опять драться. На колени захотела? Старшие, за работу. Тише, не кричать! Чей услышу голос, того без обеда. Анна, ты чего усаживаешься? Забыла разве, что велела Катерина Алексеевна. Вот твой чулок, смотри, не зевай по сторонам, пока не свяжешь шести дорожек, не спущу с колен».

– Да ведь Катерина Алексеевна уходит, как же она смеет наказывать, – проговорила Анна, очень неохотно берясь за толстый нитяный чулок.

– Уходит она или нет, это до тебя не касается, а пока она здесь, ты должна слушаться и ее, и меня. Ты думаешь, новая надзирательница потерпит грубость? Как бы не так! Вот, постой, я тебя продержу на коленях, пока они с директором приедут и увидят, какая ты дрянная девочка…

Во время грозной речи Марьи Семеновны Анна стала на колени в угол комнаты с чулком в руках. На лице её не выражалось ни тени покорности или раскаяния, напротив, она злобно глядела исподлобья, а при последних словах самым дерзким образом высунула язык.

Между тем остальные девочки усаживались по местам. Младшие ушли в соседнюю классную комнату, где они должны были учиться грамоте под руководством учительницы. Старшие в это время занимались рукодельем: они шили белье и платья, как на свое отделение, так и на верхний этаж, где помещались малютки от двух до семилетнего возраста. Работы всегда было много и она исполнялась небрежно или медленно. Марья Семеновна, обучавшая воспитанниц рукоделью, получала выговоры и от надзирательниц, и от самого директора, а между тем девочкам было очень скучно проводить три часа за однообразными швами, и они всячески старались увильнуть от дела и дать себе минутку отдыха: у одной вдруг делалось кровотечение носом – и ей необходимо было бежать в спальню, у другой ломалась иголка, у третьей наперсток был слишком велик и все сваливался с пальца, так что приходилось отыскивать его, ползая по всему полу. Беспрестанно раздавались сердитые возгласы Марьи Семеновны:

– Перестаньте шалить! Дуня, не разговаривать! Катя, ты все криво нашила, распори! Феня, ты опять ничего не делаешь? – без обеда! Даша, работай стоя. Маша, ты опять встала с места, дрянная девчонка! Анюта, где твоя работа? Без гулянья!

Иногда, не довольствуясь окриками, Марья Семеновна собственноручно расправлялась с провинившимися.

В этот день ей было особенно трудно справляться с воспитанницами. Они были взволнованы известием о приезде новой надзирательницы и вместо того, чтобы сидеть как можно тише, работать как можно прилежнее, показать себя с лучшей стороны, они беспрестанно вскакивали с мест, перешептывались, хихикали и делали стежки вкривь и вкось. Марья Семеновна уже оставила половину класса без обеда и четверть без прогулки, двух заставила шить стоя, одной посулила засадить ее за работу на все воскресенье, но ничто не помогало. Щелчков и пощечин она раздавала менее обыкновенного: кто знает, понравится ли такая бесцеремонная расправа с детьми новой надзирательнице, лучше было на всякий случай несколько сдерживать свои руки…

Между тем время шло, а эта новая начальница все не являлась. На больших часах в коридоре пробило десять, половина одиннадцатого, одиннадцать. У Анны сильно болели колени, и она пользовалась каждой минутой, когда помощница не видела ее, чтобы присесть на корточки. Два часа, назначенные ей Катериной Алексеевной, прошли, но чулок подвигался медленно вперед, она связала всего только четыре дорожки из заданных шести.

При каждом шуме на улице Марья Семеновна нервно вздрагивала и прислушивалась. И вот, наконец, у подъезда раздался резкий звонок, послышался громкий голос директора, шаги… Марья Семеновна побледнела, все девочки невольно притихли, Анна вытянулась и усиленно зашевелила спицами.

Глава II

Дверь отворилась, и в комнату вошел директор приюта, – толстенький, низенький, вечно улыбающийся Петр Степанович. За ним следовала высокая, худощавая дама, одетая в глубокий траур. Сзади, как бы нехотя, выступала Катерина Алексеевна.

– Здравствуйте, здравствуйте, деточки, – громко, быстро заговорил директор, отвечая на единогласное «Здравствуйте», которым его приветствовали девочки. – Ну, что? Все здоровы, веселы? И слава Богу! Мое почтенье-с, – отвесил он полупоклон в сторону Марьи Семеновны. – А я к вам, деточки, так сказать, и с горем, и с радостью. Горе наше в том, что наша почтенная Екатерина Алексеевна не хочет больше оставаться с нами, – устала, говорит, заботиться о деточках, здоровье порасстроила, отдохнуть надо… Что делать, пусть отдохнет. А мы помолимся Богу, чтобы за её доброту Он послал ей и здоровья, и счастья. А пока, знаю я, нельзя вам оставаться без заботливой попечительницы, без маменьки, так сказать. Вот я и нашел вам новую маменьку (тут он отступил шаг назад и сделал рукой жест, как бы указывая на даму в трауре). Добрейшая Нина Ивановна согласилась заменить вам маменьку. Любите, слушайтесь ее, деточки, во всем, и она будет любить вас.

– Мы понемножку познакомимся, и тогда, надеюсь, полюбим друг друга, – проговорила Нина Ивановна, несколько озадаченная слишком слащавой речью директора. Она подошла к столу, стала рассматривать работу девочек и расспрашивать их об их занятиях и времяпровождении.

Директор в это время бегло оглядел комнату и сделал Марье Семеновне замечание по поводу пыли на подоконнике и двух бумажек, валявшихся на полу. Марья Семеновна покраснела, растерялась и что-то начала приводить в свое оправдание, жалуясь на непослушание воспитанниц, но директор перебил ее на полуслове и обратился к Нине Ивановне, приглашая ее пройти в другие комнаты.

– Пойдемте, – согласилась Нина Ивановна, – только позвольте мне сперва обратиться к вам с просьбой. Здесь, я вижу, стоит в углу одна наказанная, нельзя ли простить ее ради моего приезда?

– Наказанная? – спросил директор и только теперь обратил внимание на Анну, все время исподлобья оглядывавшую посетителей. – А пожалуйте-ка сюда, молодая преступница, что изволили нашалить?

Анна встала с колен, неохотно подошла к директору и, вместо того, чтобы ответить на его шутливый вопрос, угрюмо молчала, низко опустив голову.

– Слышишь, глупенькая, – продолжал директор, слегка трепля ее по щеке, – какая у вас добрая новая мамаша, хочет простить тебя, шалунью, благодари же ее…

Анна отступила шаг назад и так сердито взглянула из-под наморщенных бровей, что, заметь этот взгляд Петр Степанович, он навряд ли бы счел возможным отменить назначенное ей наказание, но Нина Ивановна быстрым движением подошла к ней, наклонилась, поцеловала ее в лоб и тихим, ласковым голосом сказала ей:

– Иди к подругам, моя милая, и постарайся вести себя хорошо…

Она повернулась к двери соседней комнаты, а вслед за ней поспешил туда же и директор, и Катерина Алексеевна, не нашедшая нужным сказать на прощанье ни одного ласкового слова своим «деточкам».

Девочки волновались. Они не смели говорить громко, так как и директор, и «новая мамаша» были в соседней классной комнате, но никакие убеждения и угрозы бедной Марьи Семеновны не могли заставить их снова взяться за работу. Каждой хотелось хоть шепотом высказать свое мнение и узнать мнение других.

– Она еще не старая, моложе Катерины Алексеевны, – говорила одна. – Видели, вся в черном, должно быть, у ней умер кто-нибудь, – громким шепотом замечала другая. – Кажется, добрая, спросила, не устаем ли мы три часа сподряд шить, – сообщала третья. – Анну простила, должно быть, и нас простит, – выразила надежду толстенькая Матреша. – А что он говорил-то про Катерину-то Алексеевну, слышали, девушки. Вот умора! За доброту Бог ей здоровья пошлет…

При воспоминании о речи директора девочки не могли удержаться от смеха; сквозь ладони и передники, которыми они зажимали себе рты, прорывалось хихиканье, приводившее Марью Семеновну в положительное отчаяние.

Одна Анна не принимала участия в общем оживлении. Она не последовала совету Нины Ивановны, не пошла к подругам, а стояла неподвижно на одном и том же месте.

«Сказала „милая“, поцеловала… Что это такое?» Никто до сих пор так не целовал девочку, никто не говорил с ней таким голосом… Это новое обращение, эта непривычная ласка вызвали в ней какие-то новые, непривычные ощущения, какие-то смутные мысли, непонятные чувства. Она стояла среди комнаты недоумевающая, взволнованная, в ушах её все как будто раздавался ласкающий голос, слово «милая», и она не смела шевельнуться, чтобы не разрушить очарования…

– Что же это, Анна? Тебя простили, так ты думаешь и работать не надо, – окрикнула ее Марья Семеновна. – Садись скорей, дорубливай свою простынку, еще дведцать минут осталось, успеешь.

К удивлению Марьи Семеновны, Анна без всякого возражения уселась за стол и молча принялась за работу. За обедом дети не видели новую надзирательницу: она была занята приемом от Катерины Алексеевны разных счетов и вещей. Наказанные без обеда уселись за стол вместе с прочими, искоса посматривая на Марью Семеновну. Марья Семеновна недоумевала, как ей поступить. При Катерине Алексеевне она щедрой рукой рассыпала наказания: они обе одинаково находили, что это единственное средство заставить воспитанниц слушаться и работать; но новая надзирательница сразу простила Анну, пожалуй, она будет недовольна, когда увидит у стены целый ряд девочек, побледневших от голода и с жадностью следящих глазами за каждым куском, который проглатывают их более счастливые подруги.

– Куда ни шло, пусть себе едят сегодня, а там – как захочет «новая», – решила она и оставила без внимания своевольство девочек.

Только что дежурные вымыли и убрали посуду, как в комнату вошла Нина Ивановна, ведя за руку бледную, худенькую девочку лет семи, одетую в черное платьице. Увидев ее, воспитанницы, затеявшие было какую-то довольно шумную игру, в одну минуту присмирели и сбились в кучку, как испуганные овцы. Нина Ивановна подошла к ним.

– Дети, – сказала она, – я привела к вам свою дочку, Любочку. Она будет учиться и работать вместе с вами. Надеюсь, вы не будете ее обижать, – она еще маленькая, кажется, меньше всех вас и почти такая же сирота, как вы: у неё нет отца. Иди же, Любочка, познакомься с девочками, не бойся.

Малютка держалась обеими ручками за платье матери и очень боязливо посматривала на своих будущих подруг.

Несколько девочек тотчас же окружило ее: одна брала ее за руку, другая наклонялась поцеловать ее, третья ласково шептала ей «пойдем, миленькая, иди играть с нами».

Появление «новенькой» доставляет удовольствие воспитанницам всех учебных заведений. Мальчики подвергают обыкновенно более или менее тяжким испытаниям своих новичков, девочки же, напротив, почти всегда встречают своих «новеньких» очень приветливо. А эта новенькая была, кроме того, еще совсем особенная: дочь надзирательницы, главной начальницы, от которой можно было и потерпеть много горя, и получить много милостей. Не только взрослая Малаша, но даже маленькая Таня понимала, что очень выгодно

заслужить её расположение, приласкав малютку. Кроме того, это была девочка, не похожая на «сирот», как будто из другого мира: и одета она была не так, как они, – не в длинном сером платье, неуклюжем переднике и толстых башмаках, а в коротеньком черном платьице, в черных чулках и маленьких туфельках. Белокурые волоса её не были острижены под гребенку, как у всех них, а вились барашком вокруг головы и спускались бесчисленными локонами на белую шейку, красиво окаймленную кружевцами, пришитыми к вороту платья. Этот простой, но очевидно сшитый заботливой рукой матери наряд показался девочкам удивительно красивым и богатым, а вся она со своей нежной кожей, крошечными ручками и ножками, застенчивыми манерами и тоненьким голоском представлялась каким-то необыкновенным существом.

– Вы, кажется, играли, дети, – опять заговорила Нина Ивановна, – пожалуйста, продолжайте, не стесняйтесь, а я посижу здесь с Марьей Семеновной: мы совсем еще не успели с ней познакомиться.

Она отошла вместе со своей помощницей в угол комнаты и предоставила детям играть и резвиться.

Прерванная игра опять началась, но без прежнего оживления, как-то тихо, боязливо. Несмотря на позволение надзирательницы, девочки боялись при ней шибко бегать, громко кричать. Кроме того, они считали своей обязанностью занимать Любочку, а та продолжала дичиться и совсем не умела играть с ними.

Свободное время детей было непродолжительно. В половине второго старшие должны были идти в класс учиться, а младшие приниматься за работу – за вязанье чулок или за шитье. Заниматься рукодельем с младшими казалось Марье Семеновне едва ли не труднее, чем со старшими. Те только ленились и шалили, а эти, кроме того, оказывались в высшей степени непонятливыми. Они ставили вкривь и вкось громадные стежки, беспрестанно выдергивали нитку из иголки, кололи себе пальцы и тому подобное. Особенно же мучительно было и для учительницы, и для учениц вязанье. Маленькие ручки не могли сдержать четырех спиц толстого нитяного или шерстяного чулка, петли как-то незаметно соскальзывали, клубки скатывались на пол. Долгое сиденье на месте и однообразная работа утомляли детей, пальцы у них потели и болели, глаза слипались, голова неудержимо клонилась к столу. Чтобы возбудить их внимание и прилежание, Марья Семеновна знала одно только средство – строгость, и в комнате беспрестанно раздавался плач побитых или наказанных ею.

Нина Ивановна взялась сама помочь ей вести урок, и дело пошло лучше. Во-первых, она решила, что после каждого часа работы дети должны иметь десять минут отдыха; во-вторых, она позволила двум самым младшим, для которых чулок составлял непреодолимую трудность, вязать на двух спицах узкие длинные тесемки вместе с Любочкой, наконец, она задала каждой девочке не очень длинный урок и пообещала тем из них, которые кончат этот урок раньше четырех часов, новое, гораздо более веселое занятие. Всем девочкам очень хотелось узнать, что это такое за занятие, и к половине четвертого только четыре ленивицы еще сидели за своими чулками. Все остальные убрали работу в шкаф и окружали Нину Ивановну, с нетерпением ожидая, что такое она им покажет. Она дала каждой из них по паре ножниц и по листу синей бумаги, из которой они должны были вырезать какие хотели фигурки, с тем, чтобы сберечь их и на другой день наклеить в тетради белой бумаги. До сих пор детям позволяли брать ножницы только для того, чтобы обрезать нитки при шитье, лишней же бумаги у них никогда не было в руках. Они обрадовались этой замене неприятного чулка, но еще больше удивились и несколько минут совсем не знали, как взяться за дело. Оказалось, что в этом маленькая Любочка была искуснее всех. Она тотчас же вырезала из своей бумаги кружок с загнутой палочкой сверху и назвала это «яблочком». Дети нашли, что это в самом деле яблоко и попробовали вырезать то же. Нина Ивановна помогала самым неумелым, и скоро на столе появилось множество кружочков, палочек, трех и четырехугольников, кото-

рые, по мнению детей, представляли ту или другую вещь. Час пролетел незаметно, и когда в половине пятого старшие вернулись из класса в столовую, их встретили не хмурые, заплаканные, а веселые, оживленные личики. Дежурные роздали всем по куску черного хлеба с солью. До пяти часов все девочки отдыхали, а с пяти до семи работали старшие – теперь их была очередь вязать ненавистные чулки.

– Что, они, я думаю, не меньше маленьких скучают за этой работой? – спросила Нина Ивановна у Марьи Семеновны, совсем не знавшей как держать себя, когда не приходилось ни наказывать, ни бранить детей.

– Да, очень ленятся, – отвечала Марья Семеновна. – Только тем и можно заставить работать, что поставишь среди комнаты на колени. К семи часам почти что ни одна не сидит на месте.

Нина Ивановна решила и на старших подействовать иначе. Она им, так же как и маленьким, задала уроки, связав которые, они могли убрать работу и заниматься, чем хотели, предложила им вязать каждый ряд наперегонки, записывая, кто будет чаще оканчивать прежде всех, и обещала, что самым лучшим работницам даст на другой день вязать или тонкие детские чулочки, или перчатки. Она не запрещала, как Марья Семеновна, разговоров во время работы, напротив, сама разговаривала с детьми, выспрашивала их, чем они занимались в школе, какую книгу читали, и сама рассказала им маленькую сказку. Нельзя сказать, чтобы все девочки равно и усердно принялись за дело. Некоторые зевали, глядели по сторонам, пересмеивались друг с другом и беспрестанно вскакивали со своих мест, так что их работа почти не подвигалась. Но большей части очень понравилось вязать наперегонки. Оказалось, что маленькая Саша три раза кряду кончила прежде всех. Это раззадорило старших девочек; Малаша и Ольга стали так быстро шевелить пальцами, что Нине Ивановне приходилось только удивляться, как скоро кончались у них ряды. Анна обыкновенно считалась самой ленивой работницей, и ей всегда приходилось одной из первых становиться на колени. Вязать она умела, вязала даже очень хорошо, когда хотела, но дело в том, что не хотела она почти никогда. Чуть только примется она за работу и заметит, что Марья Семеновна следит за ней, как у нее является непреодолимое желание «сделать назло». Она или бросит клубок вверх как мячик, или напялит чулок на руку, или начнет разматывать нитки, пока они все запутаются. Марья Семеновна, конечно, не спускала ей ни одной из этих шалостей. Но наказания не смиряли, а еще больше ожесточали девочку: отхлопают ее по рукам, выдерут за уши, продержат несколько часов на коленях, оставят без обеда или ужина, запрут на целый день в темную комнату – она побледнеет, нахмурится, но продолжает лениться, отвечать грубостью на замечания и пользоваться всяким случаем, чтобы сделать неприятность Марье Семеновне. Задавая всем уроки, Нина Ивановна сказала ей с ласковой улыбкой:

– Я хочу задать тебе поменьше, Анна, ты сегодня утром долго вязала. Или, может быть, тебе будет обидно взять урок меньше, чем у Даши и Усти: ты, ведь, кажется, старше их?

Никогда прежде Анне не приходило в голову, что можно обидеться из-за маленького урока, но теперь ей показалось, что в самом деле стыдно ей, большой, сработать меньше девочек, недавно перешедших из младших в старшие.

– Задавайте мне, как всем, – проговорила она нетвердым голосом.

– Ну, вот и отлично! – похвалила Нина Ивановна. – Я так и знала, что ты не захочешь отстать от других.

Это опять-таки было новостью для Анны: она отставала всегда во всякой работе, но теперь ей вдруг захотелось доказать Нине Ивановне и всем девочкам и, кажется, главное самой себе, что она в самом деле не хуже других.

Она усердно принялась за чулок и, если бы не ловкая Саша, кончила бы свой ряд первой. Она торопится, щеки её горят, пальцы дрожат от волнения – опять Саша, какая досада!

Теперь Малаша… Теперь Ольга… Опять Саша! Противная! А Анне оставались только две петли.

Нина Ивановна замечает, что соперничество волнует не одну Анну, и, чтобы утешить тех, кто не может быть первыми, предлагает записывать и вторых, и третьих.

Теперь Анна торжествует. Она беспрестанно оказывается третьей и даже раза четыре второй.

Чулки удлиняются в руках девочек, они незаметно подвигаются к концу урока, и Марья Семеновна с удивлением замечает, что сегодня, пожалуй, никого не придется ставить на колени.

Между тем маленьким так понравилось вырезывание из бумаги, что они выпросили себе у Нины Ивановны ножницы и усердно истребляли старые тетради, превращая их в весьма мало сходные с действительностью изображения разных предметов. Любочка работала успешнее всех, и перед ней разложено было множество окошек, лестниц, бочонков, двуногих собачек и совсем безногих девочек. Её искусству завидовали, у неё выпрашивали её произведений, но она крепко защищала свою собственность и на все просьбы подруг отвечала:

– У тебя есть ножницы, режь сама…

– Любочка, – приставала к ней Матреша, никак не умевшая справиться с ножницами, – давай меняться: я тебе подарю вот эту косыночку (она положила на стол какой-то кривой отрезок бумаги), а ты мне дай собачку.

– Не хочу, – решительно проговорила Любочка, – моя собачка лучше.

– Нет, так нельзя, – заспорила хитрая Матреша, – косыночка уж лежит с твоими вещами, я возьму собачку.

И она потянулась за одной из безногих собачек, но Любочка прикрыла свои сокровища обеими руками и даже легла на них головой. Матреша, не долго думая, ухватилась за её курчавые волосы и со всей силы потянула их. Любочка громко вскрикнула от боли, но прежде, чем Нина Ивановна или Марья Семеновна успели подоспеть ей на помощь, Матреша получила такой сильный удар по рукам и по спине, что, оставив свою жертву, с криком и слезами отбежала прочь, а подле Любочки очутилась Анна, взволнованная, раскрасневшаяся.

По правилу заведения, строго соблюдавшемуся Марьей Семеновной, в случае драки – все виновные в ней без всякого разбора дела равно подвергались наказанию. Но Нина Ивановна находила, что и Любочка, и Матреша достаточно наказаны. Любочка, никогда прежде не подвергавшаяся подобным нападениям, прижималась к матери и жалобно рыдала, Матреша плакала от боли и от неожиданности удара… Что касается Анны, то, прежде чем осудить ее, Нина Ивановна хотела узнать – вследствие чего она так непрошено вмешалась в дело. Сидела себе спокойно, вязала, по-видимому, прилежно, радуясь, что урок почти кончен, и вдруг, в одну секунду очутилась в другом углу комнаты и так бесцеремонно расправилась с подругой.

– Анна, из-за чего это ты так набросилась на Матрешу? – спросила у неё Нина Ивановна серьезным, но ласковым голосом.

– А зачем она обижала Любочку, – проговорила девочка, смотря, по обыкновению, угрюмо исподлобья.

– Да ведь они поссорились, и ты не знала, кто из них виноват, может быть и Любочка, – за что же ты прибила Матрешу?

– Все равно, она не смеет трогать Любочку! – решительным голосом сказала Анна.

– Отчего же? Мне бы хотелось, чтобы вы считали Любу совсем такой же девочкой, как вы, и обращались с ней так же, как друг с другом. Правда, она меньше всех; может быть, ты оттого ее пожалела?

Анна отрицательно покачала головой. Она чувствовала, что заступилась за Любочку совсем не как за маленькую, слабенькую. Каждый день видела она совершенно равнодушно, как старшие девочки били младших, и сама нисколько не щадила слабых, но Любочка другое дело… «Любочка ваша, а вы меня приласкали, вы сказали мне доброе слово, я для вас это сделала» – хотела бы она сказать, но не сумела и не посмела.

– Я никогда и никому не позволю обижать Любочку, – проговорила она после нескольких секунд молчания.

Должно быть, Нина Ивановна отчасти прочла на лице девочки её чувства, и у нее не хватило духу бранить ее за расправу с Матрешей.

– Благодарю тебя за мою глупенькую дочку, – еще более ласковым голосом сказала она, – только пожалуйста из-за неё не бей других: мне это будет очень, очень неприятно… А теперь, иди скорей – довязывай свой урок: видишь, уж пятеро кончили, мне не хочется, чтобы ты отставала от других.

Анна подняла голову, глаза её блеснули. Отставать – вот еще. С какой стати ей отставать? Она схватила свой чулок и так усердно принялась за него, что кончила урок ранее семи часов. За ужином она исполняла свое дежурство так ловко и расторопно, что даже Малаша, всегда ворчавшая, зачем ей дают в помощницы такую «неповоротливую дуру», ни разу не сделала ей ни одного замечания.

Глава III

Порядки, которые Нина Ивановна стала вводить в сиротском доме, вызвали прежде всего общее недоумение.

– Не выдрать за уши, не хлопнуть по руке девчонку – ворчала Марья Семеновна, – да это ни на что не похоже! Они после этого и уважения никакого к нам не будут иметь.

– Слышали, девушки? – объявляла Паша: – Нина Ивановна сказала, чтобы Соню Крылову вовсе не назначать никогда на дежурство.

– Это отчего? Что такое? – волновались воспитанницы.

– Она говорит, что Соня слабая, что ей не под силу дежурить, – объяснила Паша.

– А что, она и вправду слабая, – согласилась Ольга. – Намедни мы с ней вместе таскали воду в умывальники, так жаль было на нее смотреть. Я несу два ведра – мне нипочем, а она с одним взошла на лестницу, а дальше и не может, села на ступеньку, – бледная вся, еле дышит…

– Эка беда! Из-за этого не дежурить? – возражали другие. – Баловство какое! Она будет сидеть сложа руки, а мы за нее работай! Этак всякая скажет: «больна, не могу».

– Тебе-то, Глаша, нельзя сказать: ты вон какая толстая да краснощекая, а Соня, посмотри, в чем душа? – заметила Ольга.

– Чего «в чем душа»? – не унималась Глаша. – При Катерине Алексеевне, небось, работала, не смела жаловаться. Посидела бы денька три на хлебе и на воде, так забыла бы свои болезни.

Ольга, не любившая спорить, замолчала, но в глубине души и она, и многие другие сознавали, что Нина Ивановна права, что нельзя слабую, болезненную Соню заставлять работать наравне с крепкими, сильными девочками…

Паша дежурила в столовой и, перемывая посуду, нечаянно разбила кружку. Разбить или разорвать что-нибудь считалось в сиротском доме одним из важнейших преступлений. Паша, девочка вообще робкая, вся побледнела и с ужасом глядела на черепки, валявшиеся на полу. Ни Марьи Семеновны, ни Нины Ивановны в комнате не было. Девочки засуетились вокруг бедной Паши, и каждая давала ей какой-нибудь совет.

– Ты скажи, что не знаешь, кто разбил, – учила ее одна, – скажи, что кружка лежала на столе разбитая, и мы все скажем, что не знаем.

– Нет, лучше возьми скорей черепки в карман и выбрось их: может, сегодня не заметят, – советовала другая.

– Еще лучше вот как сделай, – предлагала третья: – составь все кусочки вместе, да и поставь в шкаф. Марья Семеновна начнет считать кружки, у неё в руках и развалится…

Никому из девочек и в голову не приходило, что все это ложь, обман, что несравненно хуже солгать, чем разбить чашку. Да и с чего бы им это пришло в голову? Они часто лгали, обманывали, и ложь их иногда оставалась неоткрытой, а следовательно и ненаказанной, за каждую же испорчённую вещь их наказывали, и наказывали очень сурово. За такую же разбитую кружку Саша Большая оставлена была без чаю на целую неделю, а Пашу, за то, что она разбила стекло от лампы, Катерина Алексеевна сама била линейкой по рукам до того, что все пальцы девочки распухли.

В коридоре раздался голос Нины Ивановны. Одна из девочек собрала черепки и быстро сунула их в карман Паше, которая продолжала стоять в каком-то оцепенении. Войдя в комнату, Нина Ивановна тотчас заметила, что что-то не ладно.

– Что случилось, дети? – спросила она. – Паша, что с тобой? Чего ты так побледнела?

Паша от страха сама не понимала, что делает. Машинально опустила она руку в карман и машинально же вынула оттуда несчастные черепки.

– Что это такое? Как же это с тобой случилось? Ты шалила?

Паша ничего не отвечала. Она опустила голову и заплакала.

– Она нечаянно-с, Нина Ивановна, право нечаянно, – заговорило несколько голосов. – Стала вытирать кружки, а кружка и выпала. Она не шалила, право, не шалила, Нина, Ивановна…

– Ну, если вы это говорите, так я вам верю, – сказала Нина Ивановна. – Не плачь, Паша, беда не особенно велика; только в другой раз старайся быть осторожнее.

И это все? Ни побоев, ни наказаний, ни даже строгого выговора?.. Паша долго не могла придти в себя от удивления, да и все девочки были в порядочном недоумении.

– Ну, девушки, – провозгласила в тот же день Дуня Краснова, – новая надзирательница и впрямь наказывать не будет. Вчера Феня Малова так нашила, что все пороть пришлось, а она ей хоть бы что, сегодня Паше также ничего, да после этого неужели я работать буду? Нашли дуру. Да ни в жисть.

– И вправду! Не наказывают, так из-за чего стараться?.. И Марья-то Семеновна нынче тихая стала: не дерется, не кричит. Все: «пожалуйста», да «пожалуйста», думает – мы ее слушать станем, как бы не так!

И шалуньи поднимали такой шум, такую возню, обращали так мало внимания на увещания Марьи Семеновны, что та приходила в совершенное отчаяние. Однако их надежда на безнаказанность оказалась неосновательной. Правда, Нина Ивановна не била их, наказывала гораздо реже и мягче прежнего, но её наказания показались им едва ли не более тяжелыми, чем наказания Катерины Алексеевны. Стоять на коленях среди комнаты, рядом с дюжиной подруг, было, конечно, неприятно, но гораздо менее неприятно, чем работать за отдельным столиком, и шить не то, что шили большие, а какое-нибудь толстое полотенце или грубый передник, как маленькие. Щелчки и колотушки Марьи Семеновны заставляли детей вскрикивать от боли, но когда боль проходила, у них оставалась только злость, желание отмстить за нее. Когда же Нина Ивановна уличала кого-нибудь в проступке и старалась мягкими, но серьезными внушениями довести до сознания и раскаяния, виновная горько плакала, но ни на кого не злилась, и была несколько времени необыкновенно тиха, внимательна к своим поступкам.

– Право, уж лучше бы она меня прибила, чем такие жалкие слова говорить, – рыдала резвая, но очень чувствительная Дуня. – Так она этими самыми словами пронимает, точно ножом по сердцу скребет.

Нина Ивановна очень часто представляла девочкам, в какое несчастное, беспомощное положение они будут поставлены, если, прожив до шестнадцати лет в приюте, ничему не научатся, не сумеют заработать сами себе кусок хлеба. Её рассказы производили впечатление, особенно на старших; они стали задумываться, понимать, с какой целью от них требуют аккуратности и прилежания, стали внимательнее относиться к своим обязанностям, работать и учиться не только ради одного страха наказания.

Младшие не останавливались на таких серьезных мыслях. Им оставалось жить в приюте еще четыре, шесть, восемь лет, – стоит ли думать о том, что будет после? Но многие из них просто полюбили Нину Ивановну. Её приветливое обращение, её ласки тронули сердца детей, которые до сих пор во всякой начальнице, во всякой воспитательнице видели только своего врага. Они стали ценить её похвалу, её одобрение, боялись рассердить, огорчить ее, и это удерживало их от многих шалостей.

Влияние Нины Ивановны отразилось всего сильнее на Анне Колосовой. Передавая своей преемнице список воспитанниц заведения, Катерина Алексеевна сказала ей про Анну: «это самая испорченная из всех девчонок, ее следовало бы просто выгнать, на нее уж ничто не действует». Она и не подозревала, как подействует на девочку один поцелуй, одно ласковое слово.

Когда Анне было всего несколько дней от роду, ее нашли у дверей приюта, завернутую в какие-то тряпки, полумертвую от холода и голода. Она не знала ни родителей, ни родных, не видала никакой другой жизни, кроме жизни в приюте. Крикливый ребенок, она не пользовалась расположением нянек, а главная надзирательница младшего отделения постаралась как можно скорее отделаться от неё, благо она была довольно высока и сильна для своего возраста. Шести лет ее перевели в старшее отделение, где ей пришлось работать и учиться наравне со всеми.

С первых же дней дело пошло дурно. Малютка скучала и уставала долго сидеть на одном месте, работа валилась у неё из рук, ей неудержимо хотелось побегать, покричать, а Марья Семеновна немедля стала приучать ее к труду и послушанию своими обычными средствами. Первые наказания не смирили Анну, не внушили ей благодетельного страха к начальству: они только злили ее, вызывали на упорство. Она прямо отказалась становиться на колени; когда ее оставили без обеда, она принялась топать ногами и кричать страшнейшим образом, когда Марья Семеновна ударила ее, она сердито засверкала глазами и сама замахнулась на нее сжатым кулачком. Наказание розгами редко применялось в приюте, и то в особенных случаях. Решили, что только этим средством можно смирить необузданную девочку. Анну высекли, высекли так больно, что она захворала и затем поняла необходимость послушания. Она перестала кричать, перестала замахиваться на Марью Семеновну, она по первому приказанию становилась и в угол носом к стене, и на средину класса, и на колени, но это не сделало ее ни трудолюбивее, ни, главное, добрее. Она пользовалась всяким удобным и неудобным случаем, чтобы увильнуть от работы и, не смея открыто восставать против начальниц, в душе ненавидела их сильнейшим образом. Насмешливая улыбка, с какой она исполняла всякое приказание, выводила из себя Марью Семеновну. Когда она, кусая побледневшие от злости губы, смотрела исподлобья сердитыми глазами на Катерину Алексеевну, та непременно удваивала назначенное ей наказание. Подруги также не очень любили Анну. Одни боялись дружиться с ней потому, что она была на дурном счету у начальства, и из-за неё легко было попасть в беду, другим не нравилась её раздражительность и неуступчивость. А между тем Анна вовсе не была девочкой злой, неспособной к нежным чувствам. Она видала, как к некоторым девочкам приходили их бабушки или тетки, как они их ласкали, давали им гостинца и разные мелкие вещицы.

«Отчего это ко мне никто такой не придет?» – думалось девочке. Ей становилось невыносимо грустно, ей хотелось плакать, но о чем – она и сама не понимала. Если в эти минуты подруги звали ее играть или приставали к ней с разговорами, она отвечала им сердито, отталкивала их, а они называли ее «противной злючкой». Часто вечером, лежа в постели после особенно несчастного дня, она представляла себе, как было бы хорошо, если бы вдруг к ней пришла такая же маленькая беленькая старушка, какая приходит к Тане, и положила бы эта старушка свою морщинистую руку ей на голову, и сказала бы таким же тихим, добрым голосом, каким говорила Танина бабушка: «Дитятко ты мое бедное, много тебе приходится терпеть!» Анна сочиняла целые длинные разговоры с «беленькой старушкой», она и плакала, и улыбалась, и хорошо ей было… Вдруг раздавался резкий голос Марьи Семеновны:

– Все спят, ты одна вертишься в постели да пялишь глаза, Анна. Мало была наказана сегодня, еще захотела?

Мечты Анны разлетались, она сердито куталась в одеяло и засыпала со злобой в сердце.

Когда девочки волновались при известии о перемене надзирательницы, Анна оставалась безучастной.

«Не все ли равно: эта ли, другая ли? Они ведь все злые», – думалось ей, когда она, стоя на коленях, исподлобья поглядывала на Нину Ивановну, только что приехавшую в приют. И вдруг эта «другая» подходит к ней, избавляет ее от неприятного наказания, говорит с ней лас-

ковым голосом, целует ее… В первую минуту Анна была до того изумлена, что как-то совсем не могла придти в себя. Это слишком походило на её мечты о беленькой старушке… Но часы проходят, ласковый голос опять слышится, хвалит, ободряет ее, – нет, это уж «вправду».

И Анна вдруг в первый же день почувствовала к Нине Ивановне что-то особенное, чего она еще ни к кому не чувствовала, – сильную, нежную любовь, страстное желание угодить ей, заслужить её внимание. Ради этой любви заступилась она за Любочку, ради этой любви работала она, как никогда в жизни.

– Что это вы так бранили Анну Колосову? – говорила Нина Ивановна Марье Семеновне. – Мне кажется, она очень старательная и хорошая девочка.

– Да она и вправду последнее время как-то стала получше вести себя, – отвечала Марья Семеновна, – а может быть, она это просто хитрит; без вас она ведь совсем не такая, как при вас.

Марья Семеновна была отчасти права. Хотя Анна вовсе не хотела хитрить, но действительно в отсутствие Нины Ивановны ничто не побуждало ее вести себя хорошо, и она очень часто становилась той грубой, ленивой, заносчивой девочкой, которую преследовала Катерина Алексеевна.

– Анна, садись за стол, видишь, все уже сели! – говорила ей Марья Семеновна.

– Сама знаю! Чего вы пристаете? – тотчас огрызалась девочка.

– Анна, смотри-ка, Феня взяла твой наперсток, – доносила Паша.

– А вот я ей покажу, как брать чужие вещи!

И Анна налетала на маленькую Феню, вырывала у неё наперсток и при этом толкала ее так грубо, что та падала на пол.

Иногда Нина Ивановна входила именно в ту минуту, когда Анна дерзко говорила с её помощницей или слишком бесцеремонно расправлялась с младшими подругами. Увидев ее, девочка робела, конфузилась и смотрела на нее такими умоляющими глазами, что у Нины Ивановны не хватало духа бранить ее.

– Привалило Колосовой счастье, – подсмеивались девочки. – Бывало, ее каждый день бьют и наказывают, а нынче все похваливают. Других Нина Ивановна бранит, а ей все «милая» да «умница». В «любимки» попала.

Может быть, девочки отчасти и были правы. Нина Ивановна вовсе не хотела баловать Анну, отличать ее от других, делать ее «любимкой», как они выражались, но с первых же минут своего вступления, при взгляде на бледную черноглазую девочку, терпевшую тяжелое наказание, ей стало жаль этой девочки, ей захотелось приглядеться, заслуживает ли она в самом деле жестокий приговор Катерины Алексеевны. В первый же вечер Анна заступилась за её маленькую дочку и этим расположила ее в свою пользу. Она видела, что у девочки, вследствие дурного воспитания, развилось много недостатков, но что у неё все-таки есть желание и сила воли поступать хорошо. Ей нравилось, что Анна, грубая и своевольная с другими, была всегда кротка и послушна с ней. Невольно отличала она ее от прочих, невольно показывала ей больше внимания и больше снисхождения.

Раз как-то Анна проснулась с головной болью и в очень дурном расположении духа: она была в этот день дежурной по спальне, а этого дежурства воспитанницы особенно недолюбливали. Таскать ведра с грязной и чистой водой, подтирать пол, чистить умывальники – все это были работы и трудные, и неприятные. А Анне, как нарочно, пришлось дежурить вместе с Лизой Сомовой, ленивой и хитрой девушкой, всегда сваливавшей большую часть труда на младших помощниц.

– Выноси грязную воду, пока я чищу умывальники! – сказала она Анне.

Анна ничего не возразила и хоть ворчала про себя, но аккуратно стаскала во двор и вылила в помойную яму все восемь ведер мыльной воды. Она устала, голова её разболелась

еще сильнее, руки и плечи ныли, она присела отдохнуть, пока её ленивая подруга, еле двигая руками, продолжала копаться над чисткой умывальников.

– Анна, ты чего же это расселась? – закричала вдруг Лиза. – Неси скорей чистую воду, я сейчас кончу…

– Ишь выдумала! – рассердилась Анна. – Я таскай и помои, и воду? Как бы не так! Бери сама ведра да отправляйся.

– Скажите, пожалуйста, я буду работать, а она сидеть сложа руки? Нашла дуру! Давно ты не бита, так зазналась… Иди сейчас же за водой, не то я тебе таких тумаков надаю, что ты у меня вскочишь. Не посмотрю и на твою Нину Ивановну.

– Нина Ивановна такая же твоя, как и моя, – все больше и больше горячилась Анна, – и тумаков она тебе не позволит мне давать.

– А вот посмотришь!

Лиза подошла к ней с угрожающим видом и уже замахнулась, чтобы ударить ее, но Анна уклонилась, схватила стоявшую подле швабру и ударила ею прямо по лицу своей противницы. Лиза вскрикнула и обратилась в бегство, но Анна преследовала ее, загнала в угол и продолжала наносить ей удары своим грязным оружием.

Никто не видел этой борьбы, так как воспитанницы уже вышли из спальни, но крик Лизы услышала Нина Ивановна, поспешившая узнать в чем дело. Каково же было её удивление, когда она увидела, как отличается её «любимка».

– Анна, перестань – закричала она, схватывая девочку за руку и вырывая у неё швабру.

Анна до того разгорячилась, что не могла сразу придти в себя. Она вся дрожала от гнева и готова была продолжать драку руками, если бы Нина Ивановна не оттолкнула ее и не стала между ней и плачущей Лизой.

Несколько секунд длилось молчание. Не только обе девочки, но и сама Нина Ивановна была настолько взволнована, что не могла произнести ни слова.

– Я после разберу вашу ссору, – заговорила она наконец строгим голосом, – теперь, Лиза, тебе надо вымыться и оправиться. Я пришлю другую девочку помочь тебе дежурить, а ты, Анна, иди в мою комнату и жди меня там; я боюсь отпустить тебя к подругам; ты, пожалуй, и еще кого-нибудь изобьешь.

– Экая злючка… Господи помилуй… Как налетела! Я думала просто убьет! – ворчала Лиза, вытирая лицо и платье, на которых виднелись следы грязной швабры.

Нина Ивановна присмотрела за тем, чтобы дежурные аккуратно исполнили свое дело, усадила девочек за чай и, оставив их под надзором Марьи Семеновны, пошла в свою комнату посмотреть, что делает посаженная туда преступница. Она приготовила очень строгое внушение Анне и с грустью думала, что, вероятно, придется, кроме того, подвергнуть ее наказанию для примера прочим.

– Анна, – начала она серьезным голосом, входя в комнату, но тотчас же остановилась в удивлении. Девочка, которую она несколько минут тому назад видела такой рассерженной и грубой, теперь стояла на коленях, уткнувшись головой в диван, и вся дрожала от рыданий. Голос Нины Ивановны невольно смягчился.

– Анна, успокойся, – сказала она, – встань, мне надо поговорить с тобой.

Но Анна продолжала рыдать, не поднимая головы.

Нина Ивановна попробовала подействовать строгостью, но при первом же окрике её рыдания усилились, превратились в истеричные.

Вместо того, чтобы бранить и наказывать девочку, пришлось ухаживать за ней, лечить ее. Нина Ивановна дала ей выпить успокоительного лекарства, насильно посадила ее на диван и стала нарочно заговаривать о посторонних вещах, не имевших отношения к её проступку. Мало-помалу Анна успокоилась, перестала плакать, могла слушать, что ей говорят и отвечать на вопросы.

– Ну, Анна, – сказала тогда Нина Ивановна, – теперь ты должна мне объяснить, из-за чего ты так разрыдалась? Ты боялась, что я тебя накажу?

– Ничего я не боялась, – возразила девочка таким тоном, точно будто ее обвиняли в чем-нибудь дурном. – Меня прежде и били, и всячески наказывали, это для меня ничего, я нисколько не боюсь.

– Значит, ты раскаивалась, что так дурно поступила, ты жалела Лизу? – продолжала Нина Ивановна.

– Лизу жалела? – удивилась Анна. – Да чего ее жалеть?.. Ей еще и не так надобно, дряни этакой!

– Так о чем же ты рыдала?

– Я… мне… – Анна покраснела, опустила голову и видимо не находила слов для выражения своей мысли. – Я думала, вы меня не залюбите… – прошептала она.

– А тебе хочется, чтобы я тебя любила? – спросила тронутая Нина Ивановна, привлекая к себе девочку. – Ты сама разве любишь меня?

– Так люблю, что страх! – порывисто вскричала Анна.

– За что же ты меня полюбила, бедняжка? Я ведь еще ничего тебе хорошего не сделала?

– Нет, сделали. Помните, когда вы в первый день пришли, помните, что вы мне сделали?

Нина Ивановна не понимала, о чем именно говорит девочка.

– А как вы меня поцеловали и сказали «милая», помните?

Нина Ивановна вспомнила и все поняла: её поцелуй был первая ласка, какую эта сирота получила в жизни, оттого-то эта ласка так сильно и подействовала на нее, вызвала в ней чувства, которые до тех пор дремали под гнетом суровой обстановки, окружавшей ее. Она села подле девочки, обняла ее и, вместо приготовленного строгого выговора, стала ласково говорить с ней о том, как ей хочется, чтобы Анна исправилась от своих недостатков, стала хорошей девочкой.

– А тогда вы меня будете любить, очень любить, больше всех? – спросила Анна.

– Конечно, я буду тебя очень, очень любить, – обещала Нина Ивановна.

– Так же, как Любочку?

– Может быть. Я буду заботиться о тебе, как о своей дочке.

Анна схватила руку Нины Ивановны и быстрым движением прижала к губам своим. Она несколько раз видела, как Любочка целует руку матери и ей захотелось испробовать эту дочернюю ласку. Нина Ивановна поцеловала ее в лоб и встревожилась.

– Анна, у тебя голова горит, а руки как лед холодные, – сказала она, – ты нездорова, тебе нельзя идти в класс. Приляг здесь на диван. Мы с тобой обе с утра еще ничего не ели, я сейчас буду пить чай и тебя напою.

Анна прислонилась головой к подушке дивана. Нина Ивановна сама налила ей чашку чая, сама накрыла ее теплым пледом. Девочка лежала молча, широко раскрыв глаза и не совсем понимая, что с ней делается. Неужели это не сон, неужели в самом деле это она лежит на мягком диване в уютной комнате, пьет чай не из глиняной кружки, а из тонкой фарфоровой чашки, слышит вокруг себя не брань и крики, а кроткий, ласкающий голос…

«Да я теперь совсем точно Любочка стала», – мелькало в голове её, – «Любочка, то есть, девочка, у которой есть мать, которую есть кому приголубить, приласкать… Я Любочка, я совсем Любочка», – прошептала она, приподнимаясь и оглядывая комнату радостным взглядом, – «у меня есть бабушка, добренькая, седенькая, нет, не седенькая, не бабушка, а лучше… Ах, как хорошо…»

Пережитые волнения утомили ее, глаза её невольно закрылись, голова упала на подушку, и через несколько секунд она заснула тихим сном счастливого ребенка.

Нина Ивановна поглядела на нее с грустной улыбкой, плотнее укутала ее пледом и на цыпочках вышла вон, тихонько притворив дверь за собой.

Глава IV

Ничто не изменилось вокруг Анны. Все те же длинные серые стены неуютных спальных и классных комнат, все те же трудные дежурства, скучные работы, те же ворчливые «старшие» и надоедливые «маленькие», а между тем – все это кажется ей чем-то совсем другим и несравненно более приятным.

Резкий утренний звонок Марьи Семеновны не заставляет ее морщиться и досадливо кутаться в одеяло, она вскакивает с постели при первом ударе колокола и спешит одеться прежде всех. Ей хочется выскочить в коридор и первой встретить Нину Ивановну, которая непременно потреплет ее по щеке и ласково скажет:

– Ты уж совсем одета? Ай да умница!

Во время урока рукоделья она садится подле Нины Ивановны и беспрестанно старается обратить на себя её внимание: то она просит показать ей какой-нибудь новый шов, то она особенно быстро и чисто исполняет заданное; во время школьных занятий она не сидит, как прежде, рассеянной и безучастной: она внимательно слушает все объяснения и рассказы учительницы, чтобы повторить их потом Нине Ивановне, которая очень любит, когда дети говорят с ней о том, чему выучились в школе. Свободное время она проводит большей частью с Любочкой. Она защищает ее от обид и старших, и младших подруг, забавляет ее разными играми, угождает ей всегда и во всем. Любочке, конечно, все это очень приятно, и в праздничные дни она зазывает Анну к себе, в комнату матери, чтобы играть вдвоем без помехи. Анна очень любила эти игры. Нина Ивановна часто принимала в них участие или просто сидела тут же возле девочек и всегда обращалась с ними ровно, точно будто обе они были её дочки. Иногда даже Анне казалось, что она целует ее нежнее, чем Любочку, и в такие минуты сердце девочки билось радостью.

Прежние припадки злобы находили теперь на Анну редко, обыкновенно только в том случае, если ей казалось, что Нина Ивановна относится к кому-нибудь из девочек ласковее и внимательнее, чем к ней. Тогда она бледнела, губы её злобно сжимались, глаза сердито глядели из-под нахмуренных бровей, и она готова была наделать всевозможных неприятностей не только невольно раздражившей ее девочке, но и всякому, кто подвертывался. Нина Ивановна, на руках которой было пятьдесят воспитанниц, которой приходилось много хлопотать, отменяя старые и вводя новые порядки в заведении, не могла, конечно, исключительно заниматься одной Анной. Она замечала, что девочка стала значительно лучше прежнего и радовалась этому; замечала, что прежняя раздражительность временами возвращается к ней, но не очень тревожилась этим: она знала, что ни от какого недостатка нельзя исправиться вдруг, и надеялась, что с годами, под влиянием хорошего обращения, характер Анны будет все более и более смягчаться, Настала зима, а с ней вместе праздник Рождества. Рождество! Какое это веселое время для детей, живущих в родной семье, с добрыми, любящими родителями. Не только богатые, но даже бедные люди стараются к этому дню чем-нибудь потешить своих дочек и сынков Если они не готовят им блестящей разукрашенной елки, они делают им просто какие-нибудь подарки, доставляют им какие-нибудь удовольствия. Воспитанницы Сиротского дома не знали семьи, не знали заботливости родителей. Для них Рождественские праздники отличались от будней, во-первых, тем, что они больше недели не учились и не работали, а во-вторых, тем, что в первый день Рождества и в первый день Нового года им давали за обедом третье кушанье – пироги. Обыкновенно девочки заранее радовались возможности отдохнуть, ничего не делать и первый, второй день праздника чувствовали себя очень хорошо. Но затем являлась обычная спутница ничегонеделанья – скука, которая надоедала им едва ли не больше работы. Об игрушках они не имели понятия, игр знали мало, заниматься рисованием, пением или какими-нибудь мелкими работами не умели, чтение не

доставляло им удовольствия, так как очень немногие из них вполне ясно понимали то, что читали, да и книг, кроме учебных, у них почти не было; на четвертый, на пятый день их одолевала сильнейшая скука, и все время проходило у них в бесцельном шатании из угла в угол, да в перебранках друг с другом.

Чтобы чем-нибудь развлечь их, Нина Ивановна предложила им устроить снежную гору в углу двора и кататься с неё. Дети с величайшим удовольствием принялись за дело. И взрослые девушки, и самые маленькие с одинаковым усердием таскали снег, сглаживали его, поливали водой. Через два дня скользкая, блестящая на солнце горка была готова, и двор огласился веселым хохотом девочек, которые с трудом взбирались на гору по маленьким, проделанным в снегу ступенькам, скатывались, сидя на кусках старого войлока, падали, поднимались, вязли в снегу. Веселье было полное. Одна беда, всем хотелось скатываться, а кусков войлока было всего пять, да и горка была невелика; приходилось соблюдать очередь. Дело, конечно, не обошлось без ссор и драк: старшие отталкивали маленьких, маленькие плакали и кричали. Несколько раз должна была Нина Ивановна выходить из дому – восстановлять мир и справедливость.

Наконец, с её помощью, назначены были правильные очереди, и тогда ссоры уменьшились. Дети разделились на десятки, каждому десятку позволялось кататься полчаса, и в это время остальные не должны были мешать ему. В ожидании своей очереди девочки оставались во дворе, играли в снежки, делали снежных баб. Дня два дело шло отлично, но потом им этого показалось мало: они выдумали себе новую, менее безопасную забаву. Горка их прислонялась к высокому деревянному забору, отделявшему двор Сиротского дома от соседнего двора. С горы девочки очень легко могли перейти на забор и нашли прогулку по забору очень забавной. Увидя, как несколько шалуний, с трудом удерживая равновесие, шагают по узкому краю забора, Марья Семеновна испугалась, рассердилась и погрозила запереть в класс всех, кто осмелится проделать еще раз эту глупую шалость.

– Ишь раскричалась, противная! – заворчали девочки. – Так ей и позволят!

– А я не сойду, и она меня не увидит! – закричала первая затейница всяких шалостей – Дуня. – Вот где я стою. Ах, как здесь славно!

Оказалось, что проказница спустилась с забора не во двор Сиротского дома, а на крышу маленького сарайчика на соседнем дворе.

– Девоньки, как здесь хорошо! – восхищалась Дуня, подпрыгивая на месте. – Отсюда видна конюшня. Какие там красивые лошади! А дом какой хороший, и с балконом, и на балконе висит что-то красное…

Восклицания Дуни подзадоривали любопытство девочек. И Катя, и Паша, и Матреша, и Соня, и даже большая Ольга полезли на крышу.

– И я с вами! Возьмите и меня! – кричала маленькая Любочка, принимавшая участие в играх детей.

– Нет, Люба, лучше не ходи, – останавливала ее Анна, – ты упадешь.

Но девочка, не слушая ее, уцепилась за шубку Сони и с ней вместе полезла на забор. Анне хотелось вернуть малютку, или, по крайней мере, поддержать ее, и она пошла вслед за ней.

– Ах, как здесь весело! Как славно! – кричали девочки, толпясь на крыше сарайчика и прыгая от удовольствия.

Вдруг раздался треск, крик, стоны… Крыша старого, полусгнившего сарайчика, еле выдерживавшая напор лежавшего на ней снега, теперь рухнула под тяжестью скакавших девочек. Они полетели вниз в сарай, а сверху их завалило досками и снегом.

Воспитанницы, стоявшие наверху горы, заглянули на соседний двор и от страха подняли крик, заглушивший стоны упавших. Можно себе представить ужас Нины Ивановны,

когда толпа взволнованных девочек с шумом вбежала в её комнату и оглушила ее несвязными восклицаниями:

– Они обрушились… Дом провалился… Их завалило… Ой… Ай… Все померли… Ай! Дом разрушился!

Не помня себя от страха, побежала она на соседний двор. Дворники и кучера дома заметили случившееся несчастие и собрались вытаскивать девочек. Сарайчик был невысок, пол его покрыт полусгнившей соломой, и потому падение не могло быть опасным. Но снег и доски крыши, упавшие вместе с детьми, засыпали их почти совсем, и из-под обломков слышались громкие крики, стоны, рыдания. Нина Ивановна сама помогала мужикам отрывать детей. Первую вытащили Катю, – ей доской зашибло ногу и руку; Паша вылезла сама, – она была совершенно невредима и рыдала только от страха. Ольга отделалась большим синяком на лбу, Анне зашибло обе ноги так, что она почти не могла стоять, Матреша уверяла, что ее почти всю разбило, Дуня жаловалась на боль в груди, Соня не шевелилась – она лежала в глубоком обмороке. Нина Ивановна взяла ее на руки и хотела уже идти домой в сопровождении плачущих, дрожащих девочек, когда Анна проговорила прерывающимся голосом:

– И Любочка была тут.

Нина Ивановна еле устояла на ногах. Она положила Соню на землю и бросилась в ту сторону, откуда раздавался слабый голос ребенка. Любу придавило большой доской. Когда доску сняли, девочка лежала бледной и с закрытыми глазами и тихо стонала.

Грустная процессия двинулась в Сиротский дом. Впереди шла Нина Ивановна, шатаясь от горя и сжимая в объятиях Любочку, которая продолжала стонать и не открывала глаз. Дворник нес бесчувственную Соню, остальные девочки в слезах тащились за ними. Несмотря на сильную боль в ногах, Анна старалась не отставать от Нины Ивановны и беспрестанно хваталась за её платье, но Нина Ивановна ничего не замечала. Её Любочка, её сокровище, единственное утешение её после смерти мужа, ушиблена, задавлена, может быть умирает…

Придя домой, Нина Ивановна с Любой на руках прошла прямо в свою комнату и велела нести туда же Соню.

– Ради Бога, – обратилась она прерывающимся голосом к Марье Семеновне, – займитесь остальными. Пусть они разденутся, лягут в постель и прикладывают холодную воду к ушибленным местам. Я пошлю за доктором и сама сейчас приду к ним.

И она заперлась у себя в комнате с двумя больными, предоставив остальных больных и здоровых попечениям Марьи Семеновны. Последняя не стала особенно церемониться ни с теми, ни с другими: здоровых она заперла на ключ в класс, «чтобы они не совались», больным строго велела как можно скорее раздеваться и сама стаскивала с них мокрое платье, немилосердно теребя их и не переставая ворчать на «гадких шалуний», «неслухов», которых следовало бы хорошенько высечь, чтобы отучить от таких штук. Взволнованные случившимся, бедные девочки и без того страдали и от боли, и от раскаяния, а тут еще эта брань, это безжалостное отношение к ним. Очутившись в постелях, под теплыми одеялами, они пришли в себя, каждой хотелось поделиться с другими своими впечатлениями, подробно рассказать, что именно и в какую минуту она чувствовала, но Марья Семеновна не давала им сказать ни слова.

– Молчать! Молчать! Лежать у меня смирно! Что это за разговоры? Этак нашалили, да еще хвастаетесь… Дуня, лежи смирно, не раскрывайся… Анна, ты чего не прикладываешь мокрых тряпок к ногам? Хочешь, чтобы доктор отрезал тебе их? И отрежет, подожди.

Анна рассеянно слушала угрозы Марьи Семеновны, машинально прикладывала холодные компрессы к ушибленным ногам и думала об одном: «Что делает Нина Ивановна, скоро ли она исполнит свое обещание и придет к нам?»

Но прошло четверть часа, полчаса, час, а Нина Ивановна не показывалась. Дверь её комнаты несколько раз отворялась, она несколько раз проходила по коридору, но в спальню не заглядывала.

«Что же это она нас забросила? – думала Анна, прислушиваясь ко всякому шороху, – вон Соня говорит, а вон Люба, – значит, они ничего; чего же с ними возиться? Гадкая Люба! ведь я ей говорила, чтобы она не лезла, а она не послушалась, из-за неё и я теперь больна. Конечно, из-за неё. А Нина Ивановна-то ухаживает за ней, а обо мне и не подумает. И Соня туда же! Больная, дежурить не может, а шалить лезет. С какой стати она лежит в комнате Нины Ивановны? И я хочу туда. У меня очень болят ноги, страшно болят. Я наверно не могу ходить».

Грустные размышления Анны были прерваны, наконец, появлением Нины Ивановны с доктором, за которым она посылала. Доктор внимательно осмотрел всех «пострадавших», как он, смеясь, назвал их, и нашел, что Ольгу, Матрешу, Пашу и Дуню почти не стоит держать в постели, так как они совсем здоровы, а Кате и Анне надо посидеть спокойно дня два, чтобы не натрудить зашибленные ноги.

– Ничего, дешево они все отделались, – заметил он, обращаясь к Нине Ивановне. – Вам, кажется, всех их тяжелее пришлось? Вон вы как перепугались.

Действительно, лицо Нины Ивановны было покрыто смертельной бледностью и руки её нервно дрожали.

– Я, главное, боюсь за свою дочку, да за ту больную, Соню Крылову, – взволнованным голосом проговорила она.

– И тем, авось, ничего не будет! – успокаивал доктор. – Давайте им только аккуратно лекарство. Ваша дочка завтра же будет молодцом, а ту, другую, придется несколько дней продержать в постели, – слабенькая она очень.

Нина Ивановна вышла из комнаты вместе с доктором и ни разу даже не оглянулась на Анну.

Успокоясь насчет прочих девочек, она спешила вернуться к своей дорогой дочке и к бедной Соне, положение которой сильно тревожило ее.

«Ушла, даже не взглянула! – с досадой думала Анна. – Точно меня на свете нет. Ведь сказал же ей доктор, что тем ничего, зачем же она опять к ним?»

И девочка нетерпеливо двигалась в постели, беспрестанно сбрасывая свои компрессы.

В коридоре опять раздались шаги Нины Ивановны, проводившей доктора и возвращавшейся к себе. Анна не выдержала.

– Нина Ивановна! – позвала она жалобным голосом. Нина Ивановна услышала ее, подошла к ней и спросила – что ей нужно?

– У меня очень, очень болят ноги! – жаловалась Анна.

– Бедная девочка! Ну, что делать, надо потерпеть. Такие шалости даром не проходят.

Она говорила своим обыкновенным, спокойным, ласковым голосом, но Анне этот голос показался слишком холодным; она тихонько погладила девочку по голове, но Анне хотелось более нежной ласки, хотелось чтобы Нина Ивановна обняла ее так же крепко, как свою Любочку, посмотрела на нее такими же глазами, как на свою дочку. И с какой стати упрекает она ее за шалость? Разве она шалила? Она ведь полезла на сарай только затем, чтобы увести Любочку…

Нина Ивановна, конечно, не знала этого; она не подозревала, какие чувства волнуют девочку, закрывшую лицо руками и быстро уткнувшуюся в подушку. Она не могла долго возиться с Анной, когда ее ждали двое больных детей. Она еще раз посоветовала девочке запастись терпением, повторила ей уверение доктора, что ушиб её не опасен, и затем поспешила уйти от неё.

Анне казалось, что она осталась одна, совсем одна, всеми брошенная, забытая… А между тем около неё болтали и шумели другие больные.

После посещения доктора они совершенно успокоились, развеселились и соглашались оставаться в постелях только с тем, чтобы им позволяли разговаривать друг с другом и играть. Марье Семеновне надоело кричать на них, она махнула рукой и отправилась в класс, к здоровым. Без неё в спальне началось веселье, рассказы, разговоры, игры. Одна Анна не принимала в них участия; она лежала повернувшись к стене, молча, сердитая, унылая. «Чего они кричат и хохочут, несносные девчонки, – с неудовольствием думала она. – Хоть бы заснули все поскорей».

Но когда настала ночь, когда в спальне все затихло и слышалось только мерное дыхание да легкое всхрапывание спавших, ей стало еще тяжелее. Теперь уже она была в самом деле одна. Сколько она ни ворочалась, ни вздыхала, ни охала, никто не слышал ее. Дверь Нины Ивановны несколько раз скрипнула, несколько раз проходила она спешными шагами по коридору. Анна пробовала кликать ее, громко стонать, – напрасно: она ничего не слышала или не хотела слышать, как думала Анна. Действительно, Нине Ивановне было вовсе не до неё: у Любочки сделался сильный жар с бредом. Соня спала тревожно, беспрестанно вздрагивала, вскрикивала во сне. Если бы Анна была её родная дочь, существо особенно близкое ей, может быть она и нашла бы минуту времени, чтобы успокоить, утешить, приголубить ее, но ведь Анна была просто одна из девочек, безопасно спавших под охраной Марьи Семеновны; доктор сказал, что её ушиб не представляет ничего серьезного – значит, и думать о ней нечего; поскучает, поболеет немного – не беда, вперед будет умнее.

«Доктор говорил, что они выздоровеют завтра, тогда, может быть, она возьмет меня к себе и опять будет добрая?» – утешила себя, наконец, Анна, утомившись и от горя, и от злости, и от боли в ногах.

Но, увы! Следующий день принес ей мало радостей. Нина Ивановна вышла к воспитанницам бледная, с усталыми от бессонной ночи глазами, и просила девочек вести себя хорошенько и не очень шуметь, так как Любочка все еще не совсем здорова, а Соня очень слаба, лежит в постели. Она позволила всем вчерашним больным, кроме Кати и Анны, встать с постели и даже кататься с горы вместе с прочими.

– Но, дети, – прибавила она, – если случится опять какая-нибудь беда, ваша гора будет срыта, смотрите, будьте осторожны.

– Нина Ивановна, возьмите меня к себе, – попробовала попросить Анна.

– Нет, моя милая, не могу, на моем диване лежит Соня, да и потом, моим больным нужен покой, лишний человек в комнате может повредить им! – отозвалась Нина Ивановна и опять ушла.

О, как бесконечно длинно тянутся для Анны часы этого короткого зимнего дня. Много раз при Катерине Алексеевне приходилось ей проводить и целые дни, и целые ночи одной, запертой в темном чулане. Много слез пролила она в этом чулане, много раз со злости она до крови кусала себе руки, но все-таки ни разу не чувствовала она себя такой несчастной, как в этот день. Девочки играли или в классных комнатах, или во дворе, и не заглядывали в спальню; к Кате пришла её тетка и принесла ей пряников и орехов, уселась подле неё на постель и вполголоса рассказывала ей длинные истории о разных своих родных и знакомых. Из комнаты Нины Ивановны слышался по временам то голос Сони, то смех Любочки, – об Анне никто не думал, никто не обращал на нее внимания. В прежнее время это показалось бы девочке вполне естественным: все больные лежали в приюте всегда одни и никому не приходило в голову развлекать, забавлять их. Дали вовремя лекарства, накормили, напоили, чего еще нужно? И никто из сирот никогда не ждал ничего большего. Не ждала в прежнее время и Анна. Но в последние месяцы ласка Нины Ивановны пробудила в девочке новые ощущения. Ей захотелось не только быть сытой и не терпеть притеснений, но еще встречать

ласку, заботливость, привет, «быть, как Любочка», говорила она сама себе, не умея хорошо определить своих чувств. Она перестала мечтать о «беленькой старушке», ей стало казаться, что Нина Ивановна лучше всякой старушки умеет и утешить, и приголубить; в мыслях она часто называла ее, как Любочка, «мамочкой», и как сильно, нежно любила она ее!

И вот теперь она лежит больная (ноги, правда, почти не болят, но все-таки на них большие синяки), а «мамочка» и не подумает заглянуть к ней… «Вон, как хохочет её Люба. Противная девчонка, совсем здорова, а она все-таки сидит над ней, боится на минуту оставить ее. Это её дочка – она ее любит, а я ей чужая, чужих не любят, и она меня не любит, никто меня не любит, – ну, и я никого не буду любить, никого, решительно никого на свете. Все гадкие, все злые».

Когда Анна встала на другой день с постели, все заметили, что она была очень бледна и смотрела сердито.

– Здорова ли ты? – участливо спросила у неё Нина Ивановна. – Доктор приедет сегодня для Сони, хочешь, я покажу тебя ему?

– Не надо мне никаких докторов, я здорова, – резко ответила Анна.

Это был последний день праздника. Любочка, совсем оправившаяся от болезни, выпросила позволения немножко покататься с горки. Нина Ивановна закутала ее и сама вывела во двор, где играли воспитанницы.

– Дети, – попросила она их, – пустите Любу немного покататься; только, пожалуйста, не давайте ей шалить, я вам ее поручаю.

Она подвела девочку к тому месту, где стояла Анна, её всегдашняя покровительница и защитница, но Анна отвернулась и быстро отошла в сторону. Старшие воспитанницы взяли Любу за руку и обещали смотреть за ней.

В этот день Анна поссорилась с тремя девочками, насмешками довела до слез Дуню, больно прибила Феню и Таню, а Марье Семеновне наговорила таких дерзостей, что та не выдержала и пошла жаловаться Нине Ивановне, прося ее примерно наказать противную девчонку.

– Простите ее на этот раз, – заступилась Нина Ивановна за свою «любимку», – она еще не оправилась после этого несчастного приключения, я сделаю ей выговор, наказывать ее мне, право, жаль…

– Как вам угодно! – возразила Марья Семеновна недовольным голосом, – но я не могу служить здесь, если всякой девчонке позволят понукать мной.

Скрепя сердце, пошла Нина Ивановна делать выговор Анне. Ради Марьи Семеновны она старалась говорить построже и объявила Анне, что прощает ее только по болезни и непременно накажет, если она опять позволит себе такие же дерзости.

Анна выслушала ее со своей прежней холодной усмешкой и не выказала ни малейшего раскаяния.

«Наказывать будет? – думала про себя девочка. – И бить скоро начнет, и пойдет все, как при той, при прежней. Ну, и славно, пусть так. Это лучше, я и буду ее так же ненавидеть, как прежнюю. Я и теперь ее ненавижу… Вон она как улыбается, как ласково глядит, точно добрая, а это неправда: она не добрая, она никого не любит, только свою Любу, а мы ей все чужие.»

Нина Ивановна никак не ожидала, что ей придется так скоро исполнить угрозу, сделанную Анне. На следующий день снова начались работы, занятия пошли своим обычным чередом. По правде сказать, почти все девочки довольно лениво принимались за дело, но всех хуже вела себя Анна. За первым же уроком рукоделья она беспрестанно опускала работу на колени, бесцельно глядела во все стороны, ковыряла иголкой стол вместо того, чтобы шить. Несколько раз кричала на нее Марья Семеновна:

– Анна, работай! Анна, не зевай по сторонам! – но на всякое замечание она отвечала сердитым ворчанием. Наконец, когда Марья Семеновна приказала ей распороть и переделать вновь дурно сшитый шов, она вскочила с места, смяла работу и бросила ею прямо в лицо помощнице надзирательницы. Нина Ивановна видела её поступок и решила, что его невозможно оставить безнаказанным: это значило бы и обидеть Марью Семеновну, и дать дурной пример остальным детям.

Она велела Анне, во-первых, сесть со своей работой за отдельный стол, подальше от подруг, и, во-вторых объявила, что после обеда, когда все воспитанницы пойдут играть на двор, она должна будет остаться в классе и исправить дурно сделанный шов. Наказание было не жестоко, девочка выносила гораздо более тяжелые, но Нина Ивановна смотрела на нее так строго, таким суровым голосом сказала ей, запирая дверь класса: «сиди здесь одна, дурная девочка!», что сердце девочки сжалось от горя.

Одну минуту ей хотелось броситься к Нине Ивановне, хотелось закричать ей: «не сердитесь на меня, я не дурная, я ведь злюсь оттого, что вы меня не любите!» но в коридоре раздался голос Любочки: «Мама, мамочка!» и Нина Ивановна поспешила на зов дочери, не заметив движения Анны, оставив ее одну с теми печальными и злыми чувствами, которые снова овладели ею.

Вместо того, чтобы тихо сидеть на месте и шить заданный урок, Анна беспокойно ходила по комнате, точно зверек, посаженный в клетку. Ей неудержимо хотелось и рыдать, и в то же время сделать кому-нибудь зло, неприятность Она колотила кулаками по столам, опрокидывала скамейки; если бы мебель была менее прочна, она наверно переломала бы ее. На шкафу она заметила рабочий ящик Марьи Семеновны. Поставив табурет на стол, она достала его, вынула оттуда ножницы, разрезала на мелкие клочки рубашку, которую должна была шить, а сам ящик сломала.

Можно себе представить удивление воспитанниц и негодование Марьи Семеновны, когда они, вернувшись в класс, увидели все эти проделки. Марья Семеновна, дрожа от гнева, пошла прямо в комнату Нины Ивановны и рассказала ей все случившееся, требуя примерного наказания виновной.

– Ее надо высечь и выгнать вон! непременно надо! – твердила она.

Напрасно старалась Нина Ивановна успокоить ее; она все стояла на своем, что нынче ей от девчонок совсем житья нет, что она непременно поговорит с директором и, если он согласен так же баловать ребят, то она уйдет из приюта.

– Лучше уж куда-нибудь в услужение поступлю, – говорила она, – чем жить здесь да терпеть обиды от всякой дрянной девчонки.

– Делайте, как знаете, я уже вам сказала, что не дам ни сечь, ни бить детей, пока я здесь! – отвечала Нина Ивановна.

– Так позвольте хоть запереть ее в темный чулан до приезда директора, он рассудит, – настаивала Марья Семеновна.

– Пожалуй, запирайте, – усталым голосом проговорила Нина Ивановна.

Она сейчас только узнала, что директор очень сердится за происшествие на крыше, что он вообще недоволен её слишком снисходительным обращением с детьми и собирается приехать объясниться с ней по этому поводу. Объяснение, во всяком случае, не, обещавшее ей ничего приятного. И надобно же было этой несносной Анне именно теперь, в этот самый день приняться за свои старые штуки. Марья Семеновна наверно нажалуется директору, он вспомнит, что это та самая Колосова, которую Катерина Алексеевна давно советовала выгнать из приюта, и Анне несдобровать.

Утолив свою злобу над несчастным рабочим ящиком, Анна стихла и без сопротивления дала запереть себя в темный чулан, игравший роль карцера при Катерине Алексеевне. Она по старой памяти думала, что ей придется просидеть там до поздней ночи, а может быть и

ночь, но, к удивлению её, не прошло и трех-четырех часов, как дверь отворилась и ее позвала Нина Ивановна.

– Выходи, бедная девочка, – грустным голосом сказала надзирательница, – иди к детям, сегодня ты последний день у нас.

– Как?.. Куда же меня денут? – более с любопытством, чем со страхом спросила Анна.

– Директор узнал, как ты себя дурно вела, и решил, что тебе нельзя оставаться в приюте. Он отдает тебя в ученье к прачке. Ты будешь жить у неё шесть лет, работать на нее, а она выучит тебя хорошо мыть и гладить белье.

Анна задумалась.

– А вы бы отдали свою Любочку к такой прачке? – вдруг спросила она, глядя прямо в глаза Нине Ивановне.

– Нет, конечно! – как-то невольно ответила Нина Ивановна, и затем, спохватившись, прибавила, – если ты будешь хорошо вести себя, ты выучишься полезному ремеслу и можешь потом зарабатывать себе хлеб.

– Любочку вы не отдали бы, зачем же вы меня отдаете? – опять спросила Анна, и голос её дрожал от внутреннего волнения. – Если бы директор сказал, что вашей Любочке нельзя здесь оставаться, что бы вы сделали?

– Я не рассталась бы с ней. Но, Анна, ведь Любочка моя дочь, а ты нет. Мне очень, очень тебя жаль, но я, право, ничего не могу для тебя сделать.

Анна грустно усмехнулась и пошла в класс к подругам, сидевшим за вязаньем чулок.

Все уже знали о судьбе, предстоявшей ей, все только об этом и говорили. Младшие завидовали Анне, что она уйдет из приюта, будет «жить на воле», но старшие останавливали их.

– Глупые вы! Ничего не знаете, потому так и говорите, – рассуждала Параша. – Вы думаете – сладко жить в работницах у какой-нибудь прачки? Здесь мы хоть сыты; хорошо работаем, не шалим, так никто нам дурного слова не скажет, а там она и голоду, и холоду, и колотушек натерпится. Кто за нее заступится? Никто! Известно, сирота безродная.

– Да вы знаете ее к кому отдают? – вмешалась Малаша. – К той Ямичевой, у которой из нашего приюта уже двое жили. Одна-то, Лиза Карасинская, полугода не протянула, зачахла да и померла, а другая, Марфушей ее зовут, приходила оттуда к нам сюда, плакала, рассказывала, что это за житье: кажись, лучше сразу помереть, чем этак мучиться…

Начались рассказы, слышанные девочками от разных знакомых и родственниц о том, как дурно обращаются все вообще хозяйки мастерских со своими ученицами и какая злая, противная женщина будущая хозяйка Анны.

Анна молча слушала все эти рассказы и вполне верила им. Так вот какая жизнь предстоит ей, вот от какой жизни не захотела Нина Ивановна спасти ее.

Да, конечно, не захотела. Если бы она стала очень, очень просить директора, если бы она сказала, что не останется в приюте без Анны, ее послушали бы наверное. Но она не хотела. Её Любочка с ней, больше ей никого не нужно, до Анны ей и дела нет. «Она хочет, чтобы меня мучили, чтобы я умерла! А еще говорит: жалко! Неправда, все неправда, ничуть ей не жалко!»

Девочка сидела задумчиво, подперев голову рукой и при мысли о том, что ожидает ее завтра, сердце её все более сжималось от страха и тоски.

– А что, если я не пойду к этой прачке? – пришло ей вдруг в голову. – Если я возьму да и уйду куда-нибудь далеко-далеко, уйду и от приюта, и от Нины Ивановны, и от всех, от всех. В прошлом году ведь Зина Астафьева убежала, ее так и не нашли, и меня не найдут. А я, может быть, где-нибудь найду добрых, хороших людей и буду с ними жить. Говорят, у всякого есть отец и мать, значит и у меня есть; может быть, они еще не умерли, только как-

нибудь потеряли меня и не знают, где искать… А вдруг я найдусь, как они обрадуются. И у меня тогда будет мамочка своя, настоящая, не чужая.

Надежда отыскать родителей показалась Анне до того увлекательной, что она решила, недолго думая, тотчас же привести свой план в исполнение.

Ни приближение ночи, ни голод не пугали ее; она не имела никакого понятия о том, каково девочке одной ходить по незнакомым улицам большого города, не имела никакого понятия о неприятностях и даже опасностях, которым могла подвергнуться, и потому ничего не боялась. Самым трудным представлялось ей добыть из кладовой свою шубку да большой платок и незаметно выйти из Сиротского дома. Она вышла из класса, где воспитанницы продолжали оживленно толковать о ней; Марья Семеновна сводила какие-то счеты; прошла по коридору – в комнате Нины Ивановны темно и тихо, подошла к кладовой, какое счастье! Дежурная забыла ключ в замке. Бесшумно открыла она дверь, накинула на плечи первую попавшуюся шубку, схватила первый попавшийся платок и быстрыми шагами побежала к выходной двери. Задвижка сильно стукнула, когда она отодвигала ее, сердце девочки замерло, она прислушалась… Нет, все тихо, никто не слышит. Быстро юркнула она за дверь, еще быстрее сбежала с лестницы и очутилась на дворе. Обыкновенно калитка ворот Сиротского дома была заперта, но в этот день дворник, проводив директора и получив от него сорок копеек на чай, немедленно угостился на эти деньги и забыл задвинуть засов. Все как будто нарочно благоприятствовало неразумной девочке. Она перешагнула калитку, пробежала несколько шагов по улице, повернула в первый попавшийся переулок и исчезла среди мрака и тумана зимней ночи…

Глава V

Андрей Кузьмич Постников жил в одной из самых дальних улиц города, на окраине его. Из окон нового бревенчатого дома, только что отстроенного им, вид был чисто сельский, – на луга и поля пригородных деревень. В той же самой тихой, малолюдной улице помещалась и лавочка, в которой торговал сначала отец его, называвшийся просто Кузькой, а потом и сам он, почтенный Андрей Кузьмич. Покупатели богатых магазинов с презрением прошли бы мимо неказистой, полутемной лавчонки, из которой несло и дегтем, и кислой капустой, и керосином, но скромные жители предместья и еще более скромные приезжие из деревень очень охотно заходили в нее. У Андрея Кузьмича они могли без обмана и обвеса купить и гвоздей, и чаю, и печеного хлеба, и свечей, и постного масла, и дегтю, и иголку, и пряник, и селедку, и пару шерстяных варежек, и тысячу мелких вещей, совершенно необходимых во всяком хозяйстве.

– Эх, наживается, надо быть, знатно, наш Андрей Кузьмич! – не без зависти замечали соседи, видя, какие толпы покупателей наполняли лавку его в базарные дни.

– Что это вам за охота при ваших достатках жить в такой глуши? – говорили ему знакомые. – Вам бы в город переехать, да открыть богатый магазин на бойком месте.

– Чужие достатки – дело темное! – недовольным голосом отвечал обыкновенно Андрей Кузьмич. – А нам, по нашему уму, и здесь ладно; мы за большим не гонимся.

И действительно, ему жилось ладно. Много ли удалось ему нажить торговлей – не знал в точности никто, даже нежно любимая супруга его, Аксинья Ивановна; но все в один голос твердили, что их дом полная чаша. Дом этот был предметом гордости обоих супругов. Деревянный, двухэтажный, с ярко-зелеными ставнями и таким же ярко-зеленым забором вокруг широкого «хозяйственного» двора, он далеко не отличался красотой архитектуры или изяществом внутреннего убранства. Но все и снаружи, и внутри его было прочно, все приспособлено к удобству и вкусам хозяев. В нижнем этаже помещалась кухня, затем большая горница, служившая и столовой, и кабинетом, и непарадной приемной, и, наконец, просторная спальня, заставленная шкафами, комодами, сундуками, вмещавшими годами накопленное добро супругов. Верхний этаж состоял из четырех парадных комнат, уставленных тяжелой мебелью под чехлами и открывавшихся всего раз пять-шесть в год для приема гостей.

Вокруг двора возвышались разные хозяйственные постройки: тут была и конюшня для лошади, и хлев для коровы, и сарай для дров, и изба для птиц, погреб и даже собственная баня. За поясом Аксиньи Ивановны звенело более десятка ключей от разных теплых и холодных чуланов, кладовых и кладовушек, амбаров и клетей. Тихо, мирно текла жизнь среди всего этого частью наследованного, частью нажитого добра. Брюшко Андрея Кузьмича с каждым годом округлялось все более и более, а на полных, белых щеках сорокалетней Аксиньи Ивановны цвели такие розы, каким могли бы позавидовать многие восемнадцатилетние девушки.

В один морозный январский вечер Постниковы уселись, ради тепла, ужинать в кухне. Работница Алена поставила на стол миску дымящихся щей с бужениной, и сама присела к столу, заслушавшись рассказа хозяина о каком-то необыкновенно смелом мошенничестве, случившемся недавно в городе, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показался Федот, – глуповатый парень лет восемнадцати, исполнявший в доме должность дворника.

– Хозяин, а хозяин, – заговорил он испуганным голосом, – у нас, тово, не ладно.

– Что там такое не ладно? – встревожился Андрей Кузьмич. – Говори толком, что такое?

– Да то и есть, не ладно, мол, – повторил Федот. – Пошел я калитку запирать, а за воротами кто-то стонет да воет, кто его знает, кто такой; я калитку-то на засов, да к вам и прибег. Боязно.

– Вестимо боязно, Федотушка, – согласилась Аксинья Ивановна, бледнея. – Ты калитку хорошенько запри, да собаку с цепи спусти; кто его знает, может, и лихой какой человек.

Андрей Кузьмич был не многим храбрей своей жены, но он не любил, чтобы в каком-нибудь деле она первая высказывала свое мнение, и в таких случаях обыкновенно противоречил ей для поддержания своего достоинства.

– Ишь выдумала! – заметил он. – Лихой человек будет тебе стонать под воротами… Ты чего же, дурак, не посмотрел, кто там такой? – обратился он к Федоту, – может, больной, помочь надо.

– Боязно, – отозвался Федот, почесывая голову.

– Ин сходить самому посмотреть, – в раздумье проговорил Андрей Кузьмич.

– Полно, Андрей Кузьмич. Куда ты в этакую непогодь? Да и щи простынут! – вскричала Аксинья Ивановна.

Этого было достаточно. Неужели послушаться бабы? Нет, как можно! Андрей Кузьмич надел шапку, накинул на плечи Аксиньин тулуп и, приказав «прикрыть щи», решительным шагом вышел за дверь в сопровождении недоумевавшего Федота.

Не прошло и пяти минут, как он вернулся назад, ведя, почти неся на руках, какое-то небольшое человеческое существо, окоченевшее от холода, все засыпанное снегом.

– Господи, Боже мой! Что это такое? – в один голос вскричали и Аксинья Ивановна, и Алена, вскакивая с места.

– Вот вам и лихой человек, – смеясь, отвечал Андрей Кузьмич. – Сидит у ворот да плачет. Я поднял и стал расспрашивать, – куда тебе, на ногах не стоит и слова сказать не может. Кажись, по одеже, девочка. Должно, заблудилась да зазябла, надо отогреть, ночь страх холодная, еще замерзнет, не равен час, грех на душе будет.

Аксинья Ивановна и Алена засуетились; они быстро стащили с девочки её тощее, засыпанное снегом пальтецо и платочек, вытерли тряпкой её мокрое лицо и руки, накинули на плечи ей тулуп и усадили ее на лавку возле стола. При этом они наперерыв предлагали ей вопросы: «Кто она? Откуда? Куда шла? Кто её отец?» и тому подобное, но девочка дрожала, как в лихорадке, и не могла произнести ни слова.

– Полно вам тараторить! – заметил Андрей Кузьмич. – Накормите лучше ее, да и сами ешьте.

Когда перед девочкой очутилась тарелка со щами и кусок хлеба, она очнулась и набросилась на пищу с жадностью давно не евшего человека.

– Ишь, как уплетает! Проголодалась, видно, сердечная, – заметила Аксинья Ивановна.

– А ты потише, голубушка, – сказал Андрей Кузьмич, – сразу не налегай сильно: с большого голоду много есть не полагается: вредно.

Девочка подняла на него испуганные глаза и обняла рукой тарелку, как бы боясь, что у неё отнимут пищу.

– Что ты, Андрей Кузьмич? – заступилась за нее Аксинья Ивановна. – Какой там вред может быть от пищи? Ешь, знай себе, девочка, ешь, болезная.

Девочка очистила всю тарелку, съела большой кусок хлеба и оживилась. Мертвенно-синий оттенок сошел с лица её, а тусклые, неподвижные глаза заблистали и с любопытством стали осматривать все кругом.

– Отогрелась? Отошла? – указал на нее Андрей Кузьмич, доедая вторую тарелку щей и запивая ее пенистым домашним квасом.

– Ну, девочка, – ласково спросила Аксинья Ивановна, – скажи же нам, откуда ты пришла? Не здешняя, надо быть?

– Нет, не здешняя, – робко отвечала девочка. А как звать-то тебя?

– Анна.

– Ты где же живешь, Аннушка? Куда ты шла?

Анна опустила голову и молчала.

– Отец-то, мать есть у тебя, что ли? – продолжала допрашивать Аксинья Ивановна.

– Нет.

– Сиротка, значит? Может, где в чужих людях жила, а?

Анна молчала и в смущении теребила свое платье.

– Вот что, милая, – вмешался в разговор Андрей Кузьмич, все время внимательно следивший за девочкой, – мы тебя пригрели, накормили, ты видишь, мы не злодеи какие, так нечего тебе и таиться перед нами, говори все напрямик; ты убежала откуда-нибудь, откуда?

Вопрос предложен был так настоятельно, что ответить на него молчанием было невозможно. Девочка вскинула свои большие глаза на Андрея Кузьмича и сразу поняла, что от него не увернешься.

– Из Сиротского дома! – проговорила она чуть слышно.

– Вот оно что! Плохое там разве житье? Или нашалила что-нибудь да боялась, как бы не наказали?

Девочка ничего не отвечала. Она закрыла лицо руками и горько-горько заплакала.

– Ох, уж какое тут житье! – отозвалась за нее Алена. – У моей кумы была там племянница, рассказывала, как их там и бьют, и голодом морят.

– Полно, бедненькая, не плачь, – утешала Аксинья Ивановна, проводя своей пухлой рукой по стриженной голове девочки.

– Ну, вот что, Аннушка, или как тебя там? – решил Андрей Кузьмич: – утро вечера мудренее: ты теперь не реви, слезами горю не пособишь. Алена постелет тебе тут где-нибудь, ты себе ложись и сии спокойно, а завтра мы рассудим, что делать.

И он, слегка переваливаясь после тяжелого ужина, направился к себе в комнату, заперев предварительно своими руками входную дверь и наказав Алене присматривать за девчонкой, потому, Бог ее знает, какая она.

Аксинья Ивановна, уходя из кухни, еще раз приласкала Анну.

– Спи, голубушка, спокойно, – сказала она. – Ты хозяина не бойся: он ведь добрый, хоть и суровый с виду, он тебя в обиду не даст.

Алена отыскала где-то старую перинку, дала свою подушку и устроила Анне постель в самом теплом углу кухни. С наслаждением протянула девочка свои усталые, иззябшие члены, с наслаждением позволила укутать себя тяжелым тулупом. Она не раздумывала о том, к кому попала, о том, что ждет ее завтра; в эту минуту ей было хорошо, она закрыла глаза и, без мысли о прошлом, без заботы о будущем, заснула крепким, мирным детским сном…

На другое утро все в доме встали, Федот грянул об пол большую вязанку дров, Алена шумно раздувала самовар, хозяева несколько раз заглядывали в кухню, а она спала все так же спокойно.

– Эко ребячество, подумаешь! – добродушно усмехнулся Андрей Кузьмич. – Сирота безродная, в чужом доме, а спит себе – и горюшка нет.

– Какая она маленькая, да худенькая! – говорила Аксинья Ивановна, наклоняясь над спящей. – Как есть ребеночек. Жаль мне ее, Андрей Кузьмич, не поверишь, до чего жаль.

– Как не жалеть? Известное дело, жаль! – отвечал Андрей Кузьмич. – А все же нам беглых укрывать не приходится. Ужо вечерком удосужусь, надо будет отвезти ее в этот, как его, Сиротский дом.

– Неужели отвезешь? – испугалась Аксинья Ивановна.

– А то что же? Хочешь, чтобы полиция пришла да нашла ее у нас?

Аксинья Ивановна тяжело вздохнула и еще раз с состраданием посмотрела на спящую девочку.

Когда Анна проснулась, Андрея Кузьмича уже не было дома: он отправился, по обыкновению, с утра в свою лавку. Аксинья Ивановна и Алена так ласково обошлись с ней, что

она почувствовала к ним полное доверие и без всякого принуждения рассказала им свою несложную историю. Одно только прошла она молчанием – свои отношения к Нине Ивановне. Она сама не понимала отчего, но ей было как-то неловко и тяжело говорить об этом. Аксинья Ивановна и Алена слушали её рассказ с величайшим сочувствием.

– Что же ты теперь станешь делать, голубушка? – спросила Аксинья Ивановна, вытирая слезу, навернувшуюся на глаза её при мысли о безотрадном положении сироты. – Куда ты денешься? Ведь у тебя нет паспорта, а без паспорта никто тебя держать не будет.

Анна не имела никакого понятия о паспортах и очень удивилась, когда узнала, что не может жить везде, где захочет.

– Придется тебе вернуться в приют, – заметила Алена.

– Ни за что на свете! – вскричала девочка. – Лучше уж прямо помереть!

Ей живо представилось, как подруги будут поддразнивать ее, как Марья Семеновна станет попрекать ее, каким суровым взглядом посмотрит на нее Нина Ивановна, и ей казалось, что в самом деле лучше смерть, чем возвращение ко всем им…

А ведь ей предстояла даже не жизнь в приюте, а еще худшее: ее отдадут к злой прачке; там она не может остаться, она убежит, опять убежит, и опять придется ей перенести все то, что она перенесла в те ужасные сутки, которые провела, бесцельно бродя по улицам; резкий зимний ветер опять будет до костей пронизывать ее; она будет бояться и всякого встречного прохожего, и всякого темного безлюдного переулка; измученная, обессиленная, опять упадет она где-нибудь на кучу холодного снега и опять услышит над собой грубые голоса каких-то мастеровых: – «Смотри-ка, девчонка валяется. Надо стащить ее в полицию». И она вскочит, обезумев от страха, и пойдет дальше, сама не зная куда. Голод будет мучить ее. Она увидит торговок с калачами и пирогами, увидит освещенные окна булочных и колбасных, но она не посмеет подойти, не посмеет ни выпросить, ни украсть себе кусок пищи… Как, неужели еще раз пережить все это? Неужели еще будет такая ужасная ночь, такой ужасный день?!

– Говорят, есть люди, которые сами себя убивают, – проговорила она полувопросительно. – Вот и я также убью себя.

– Полно, полно, девонька! Христос с тобой! – ужаснулась Аксинья Ивановна. – Да как у тебя язык поворачивается страсти такие говорить? Сохрани Господи!.. Нет, ты постой, вон ужо хозяин придет, мы потолкуем: авось, он надумает, как твое дело уладить.

В этот день Андрей Кузьмич закрыл свою лавку ранее обыкновенного: его беспокоило, что в доме его скрывается беспаспортная беглянка, ему захотелось поскорее разделаться с ней. Аксинья Ивановна рассказала ему, что Анна боится пуще смерти возвращения в приют и со слезами просила его сделать что-нибудь для бедной сироты.

– Да что же для неё сделать? – усмехнулся Андрей Кузьмич. – Не хочешь ли, я возьму ее к тебе в горничные? Из приюта, говорят, отдают девушек в услужение: может, и ее отдадут.

– А что же, и вправду бы взять нам ее! – обрадовалась Аксинья Ивановна. – Я целые дни все одна да одна, хотя бы человек живой был возле меня. Алена, ведь ты знаешь, у нас какая: от неё не скоро слова добьешься. А взяли бы мы сиротку, ей бы добро сделали, да и нам утеха бы была. Детей у нас нет, хоть бы чужую призрели…

– Выдумала тоже! С улицы побродягу взяла, да на уж, и в дочки записала. Нет, это не дело. А коли так, в прислуги нам ее отдадут, за пищу да за одежу, так оно можно. Куском хлеба она нас не объест, это что говорить. Вот, съезжу к её начальству, объявлю, что она у меня, пусть там рассудят…

Аксинья Ивановна не сказала Анне, куда поехал Андрей Кузьмич: она боялась, что девочка, испугавшись приюта, или убежит, или, Боже сохрани, что-нибудь над собой сделает, и Анна помогала Алене убирать кухонную посуду, вовсе не подозревая, что в эти минуты решается её судьба. После всего испытанного в последние дни ей было так хорошо в теплых светлых комнатах Постниковых, будущее представлялось ей таким мрачным, что она

нарочно старалась не заглядывать в него; она чувствовала, что не может придумать ничего сама для себя, и смутно надеялась, что добрые люди, приютившие ее, защитят ее, позаботятся о ней.

Поздно вечером вернулся Андрей Кузьмич.

– Ну, как тебя там, Аннушка! – сказал он, входя в комнату, где сидела Аксинья Ивановна. – Собирайся, тебя велели сейчас же в приют предоставить.

Анна вскочила с места. Смертельная бледность покрыла щеки её.

– Я не поеду! – решительно проговорила она, и в глазах её блеснул злобный огонек.

– Не поеду?.. Ишь как! – усмехнулся Андрей Кузьмич. – Куда же ты денешься? У нас, что ли, жить хочешь?

– Оставьте меня у себя! – заговорила девочка с мольбой в голосе. – Я буду вам работать. Я ведь умею и шить, и пол мыть, и печки топить, и чулки вязать.

– Работница, то же!

Андрей Кузьмич с усмешкой поглядел на худенькие ручки, протягивавшиеся к нему.

– Ну, ин, так и быть. Возьмем ее, Аксинья Ивановна, пусть живет у нас. Да только послушной быть, Аннушка. Я так и в приюте сказал: возьму, сказал, не обижу, беречь буду, а только что если дурное замечу, не прогневайтесь: к вам прямым путем привезу. На том и порешили.

Анна почти не слушала, что говорил Андрей Кузьмич.

При первых же словах его она порывисто бросилась к Аксинье Ивановне, охватила ее обеими руками и зарыдала, прижавшись к плечу её.

Эта детская ласка, эти слезы смягчили сердце Андрея Кузьмича, Аксинью Ивановну нечего было смягчать: она плакала вместе с Анной и нежно ласкала безродную сироту.

Глава VI

Анна осталась у Постниковых. Для неё началась новая жизнь, совершенно отличная от прежней; все в этой жизни представлялось ей необычайным. Вставать не по звонку, есть не по строго отмеренным порциям, а сколько хочется, не знать никаких уроков, никакой определенной работы. Андрей Кузьмич настаивал на том, что девочку не следует баловать и приучать к праздности; что она должна и помогать Алене, и исполнять все обязанности комнатной прислуги. Но Аксинья Ивановна была другого мнения. Она сама ничего не делала, – если не считать делом мелкие бисерные работы да тамбурные салфеточки, которыми она украшала свои комнаты, – ей было скучно сидеть целые дни одной, особенно в дурную погоду, когда нельзя было ни идти гулять, ни ждать посещения какой-нибудь словоохотливой кумушки. Она беспрестанно вызывала Анну из кухни, усаживала ее подле себя, предлагала ей погрызть вместе кедровых орешков или подсолнечных семечек, расспрашивала у неё обо всех подробностях её приютской жизни и сама рассказывала ей бесконечные истории о своих родных и знакомых. Еще первое время Анна немного работала. Аксинья Ивановна купила ей холста на белье, ситцу и дешевенькой шерстяной материи на платья, пригласила свою знакомую швею скроить все необходимые вещи, и девочке пришлось приложить к делу уроки шитья, полученные от Марьи Семеновны. Она принялась за работу очень охотно, ей хотелось поскорей надеть и чистую, сравнительно тонкую рубашку, и, главное, розовое шерстяное платье; но, увы! скоро оказалось, что её леность в приюте не прошла даром. Несмотря на все старанье, она не умела шить хорошо: одно она вытягивала, другое посаживала, одно у неё шло вкривь, другое вкось. Аксинья Ивановна подсмеивалась над её неумелостью, иногда помогала ей, а чаще просто поручала швее все трудные части работы. Наконец обновки были готовы, и Анна с удовольствием могла променять свой приютский костюм на домашний. Когда она посмотрелась в зеркало и увидела себя не в неуклюжем сером, а в хорошеньком светлом платьице, сшитом по моде, ей показалось, что она стала каким-то совсем другим существом, что она уже не прежняя безродная сирота; теперь она ничем не отличается от девочек, которые гуляют по улице с отцами и матерями: она одета так же, как они, у неё есть свой дом, есть люди близкие, готовые заботиться о ней, защищать, любить ее. И она, шурша своим новым платьем, весело бегала по комнатам, играла с кошкой, целовала Аксинью Ивановну, слегка покровительственно относилась к Алене и свободно заговаривала с самим хозяином.

– Ишь, какая прыткая девчонка? – замечал Андрей Кузьмич. – А как мы с Федотом у ворот ее нашли, на ногах не стояла. Слабая, болезненная такая была, того гляди помрет… А она – вон как развернулась!

Анна в самом деле развернулась, ожила. Она не была тем озлобленным зверком, каким делало ее дурное обращение Катерины Алексеевны, она не волновалась постоянно, как при Нине Ивановне. В доме Постниковых никто не говорил ей, что она должна исправиться от своих недостатков, должна стараться сделаться лучше и добрее, никто ничему не учил ее, не вызывал на дурные поступки. Обязанностей не лежало на ней никаких, – значит, и упрекать ее за леность или неаккуратность никто не мог. Когда она, по собственной охоте, принималась за какие-нибудь мелкие домашние работы и неумело выполняла их, никто не бранил ее. Алена обыкновенно спокойно брала у неё из рук полотенце, которым она не до суха вытерла чашки, ложку, которой она безуспешно пыталась снимать с молока сливки, щетку, которой она подметала пол, оставляя за собой кучи сору, и, ни слова не говоря, сама ловко и быстро справляла работу. Алена привыкла трудиться с утра до ночи, привыкла, что все в доме делалось её руками; всякую помощь она считала не только бесполезной, но даже как будто обидной себе.

Аксинья Ивановна знала, что Алена сделает все, что нужно, и сделает хорошо, вовремя, – значит, ей и заботиться не о чем. Ей никогда не приходило в голову, что Анне следует работать для собственной пользы, что праздная жизнь, отвычка от труда могут быть вредны для бедной девочки, взятой ею на свое попечение. Она никогда не собиралась воспитывать Анну, даже, по правде сказать, и не понимала, что это значит. В первые минуты ей просто жаль стало голодного, иззябшего ребенка, а потом она нашла, что ребенок этот помогает ей прогонять скуку, начинавшую с каждым годом все более и более одолевать ее. Действительно, первое время Анна внесла немало оживления в тихий дом Постниковых. Девочка как будто вознаграждала себя за те стеснения, каким подвергалась в приюте: беспрестанно слышался её голос, её звонкий смех, беспрестанно расспрашивала она о разных вещах, которых не видала никогда в жизни; всему удивлялась, восхищалась, – и меблировкой комнат, и запасами в чуланах, и запряганьем лошади, и доением коровы, и стряпней Алены, и яйцам, снесенным пестрой курочкой. Аксинье Ивановне приходилось многое ей показывать, объяснять, и при этом время летело гораздо скорее, чем прежде, когда она, бывало, по целым часам бесцельно глядела на грязную улицу и, зевая, низала свой бисер. Сначала она только дома держала Анну около себя, а потом стала и уходя куда-нибудь брать ее с собой. Вместе ходили они и в церковь, на богомолье, и в лавки за покупками, и в общественные сады на гулянья, и к знакомым в гости. Разные кумушки и приятельницы Аксиньи Ивановны удивлялись, что она держит, точно родную дочь какую-то нищую девчонку, подобранную на улице, но мало-помалу привыкли к этому и даже стали позволять своим дочкам вести знакомство с Анной.

«Постниковы богаты, – рассуждали они, – своих детей у них нет; кто знает: может, они все свое состояние оставят этой девчонке. Чего на свете не бывает?»

Анна никогда не думала о богатстве Постниковых, а еще менее о каком-то наследстве; вообще, вопросы о будущем не тревожили ее. В настоящем ей жилось хорошо, и она с детской беспечностью пользовалась этой жизнью. Не только Аксинья Ивановна, но и Андрей Кузьмич обращались с ней ласково и добродушно, и она очень скоро привыкла держать себя с ними, как своя, близкая. Она с полным убеждением говорила «наш дом», «наша лошадь», «наша лавка», отдавала приказания Федоту, свободно открывала все шкафы и сундуки, брала из чуланов лакомства для себя и своих гостей, не стесняясь просила у Андрея Кузьмича денег на покупку себе башмаков, платья или платочка.

В день именин Аксиньи Ивановны, когда при ней в первый раз открыли двери гостиных комнат и сняли чехлы с парадной мебели, она была так смущена представившимся ей великолепием, что весь вечер просидела в кухне с Аленой и только в щелку двери посматривала на гостей в праздничных нарядах. Но эта робость скоро исчезла. Когда, десять месяцев спустя, справлялись именины Андрея Кузьмича, она уже принимала деятельное участие в приготовлениях к торжеству, и затем, надев свое новое кашемировое платье, без малейшего стеснения уселась на диван, обитый шелковой материей, без малейшего стеснения встречала гостей и весело, оживленно болтала с молодыми девушками. Глядя на нее в эти минуты, можно было думать, что она родилась и выросла в настоящей обстановке, да и сама она, повидимому, забывала, что она не дочь богатого купца Постникова, не молодая хозяйка в этой нарядной гостиной.

В числе гостей Андрея Кузьмича была старая, очень богатая тетка Аксиньи Ивановны. Она жила в соседнем городке и не более раза в год навещала племянницу. Не только Андрей Кузьмич с Аксиньей Ивановной, но и все гости относились к ней с особенным почтением, отчасти ради её богатства, отчасти и, пожалуй, главным образом, оттого, что она была женщина неглупая, правдивая и резкая в своих суждениях. Она знала почти всех присутствовавших еще детьми, и потому считала себя в праве всем говорить ты, всем высказывать прямо в глаза более или менее неприятные истины. Ей представили младших членов общества, с

которыми она еще не была знакома; она каждому из них или сделала замечание, или прочла коротенькое наставление. Когда очередь дошла до Анны, пришлось рассказать всю историю девочки. Капитолина Матвеевна, – так звали старуху, – неодобрительно покачала головой, затем, обращаясь к Андрею Кузьмичу, спросила:

– Что же ты, батюшка, заместо дочери взял ее, что ли? Капитал на нее записал?

– Что вы, тетенька? Какие у нас капиталы? – испугался Андрей Кузьмич. – Дал бы Бог самим прожить! С чего мне свое добро чужим детям раздавать?

– То-то же! У тебя, я слыхала, родные есть, не в богатстве живут. Если лишнее что припас, так лучше своего племянника либо племянницу награди… А ты, – она обратилась к Аксинье Ивановне, – прямо сказать, глупа, мать моя. Коли ты призрела бедную сироту, так тебе не к нарядам, не к роскоши надо ее приучать, а к труду, к работе, чтобы она могла сама себе кусок хлеба заработать, не была бы в тягость другим. Вот она как расфрантилась, сидит наравне с нами со всеми, а случись, спаси Господи, завтра что-нибудь с тобой или с Андреем Кузьмичом, куда она денется? Нищенствовать, попрошайничать пойдет, или еще и того хуже…

Анна слышала от слова до слова все, что говорила старуха. Лицо её горело, руки дрожали, она с волнением ждала, что ответит Андрей Кузьмич, а особенно Аксинья Ивановна. Вот-вот они сейчас скажут, что все это неправда, что она может сидеть тут и веселиться, как другие девушки, что она теперь не нищая, не безродная сирота, она – их девочка, они ее любят, всегда будут любить и никогда не оставят… Но нет! Андрей Кузьмич, по-видимому, вполне согласен с старухой.

– Известное дело, не надо ее баловать, надо заставлять работать, и я то же говорю! – поддакивает он, а Аксинья Ивановна не находит ни слова в защиту себя и своей воспитанницы; она опустила голову и в смущении перебирает бахрому мантильи, точно уличенная в чем-нибудь худом. Анне хотелось в ту же минуту убежать, сбросить с себя красивое платье и запрятаться в кухню, к Алене, но потом ей пришло в голову, что старухе именно это и надо: она вспомнила свою старую привычку делать на зло и решила: «Нет, останусь здесь, буду нарочно и говорить, и смеяться, пусть она видит, что на её слова никто никакого внимания не обращает». На сердце девочки было тяжело, – так тяжело, что слезы готовы были ежеминутно брызнуть из глаз её, а между тем она без умолку болтала, хохотала, старалась держать себя как можно непринужденнее не только со своими ровесницами, но и со старшими гостями.

– Потише, Анюточка, чего ты так расшумелась? – несколько раз недовольным голосом замечал ей Андрей Кузьмич.

Многие из гостей неодобрительно покачивали головами, глядя на нее. Они слышали слова Капитолины Матвеевны и находили их вполне справедливыми, слышали ответ Андрея Кузьмича и сообразили, что раз Анна не приемная дочь, не наследница Постниковых, то она и не должна держать себя, как равная им, как подруга их дочерей.

Поздно ночью, когда все гости разъехались, и Анна очутилась одна в своей комнате (один из бесчисленных чуланов был превращен в уютную спаленку для неё), неестественное оживление, поддерживавшее ее весь вечер, исчезло, краска сбежала с лица её, и она в изнеможении опустилась на кровать. Все слова Капитолины Матвеевны снова ясно повторились в её воображении и снова видела она смущенную, молчавшую Аксинью Ивановну.

«Бедная сирота! Чужая!.. Неужели же это я для всех, всегда буду такая?» – думала она, и несдерживаемые слезы лились по лицу её. – «Аксинья Ивановна добрая, она мне все дает, что другие матери дают своим дочкам, она даже лучше со мной обходится, чем другие матери с родными детьми. Вон, Савина часто бранит и бьет свою Катю, а мне Аксинья Ивановна никогда слова худого не сказала; отчего же она не заступилась за меня сегодня? Все говорят: работать! Что же? Я бы, пожалуй, стала работать, я ведь могу. Параша меньше меня, да как

работает, как помогает своей матери… Так то матери! Кабы у меня была мать, и я бы ей помогала. Я бы во всем, во всем помогала Аксинье Ивановне, только бы она не говорила и не позволяла говорить, что я ей чужая…»

И горько, горько рыдала Анна, уткнувшись головой в подушки. Та счастливая беспечность, в какой она жила после своего бегства из приюта, исчезла, она не могла уже больше вполне наслаждаться жизнью, у неё явилось какое-то смутное сознание, что действительность далеко не так хороша, как она воображала, и как горько, тяжело было это сознание!

На следующее утро Анна, вместо того, чтобы тотчас же по уходе Андрея Кузьмича усесться, по обыкновению, возле Аксиньи Ивановны и начать с ней пустую, но интересную для обеих болтовню, пошла в кухню и молча, с самым недовольным видом принялась помогать Алене перемывать посуду, оставшуюся грязной после вчерашнего ужина.

– Анюта, Анюточка! Где же ты? Приди-ка сюда! – позвала ее Аксинья Ивановна.

– Что вам? – сердито отозвалась девочка.

– Приди-ка, я тебе расскажу, что вчера говорил Фаддей Савельич: вот-то смех! вот-то смех!

И Аксинья Ивановна весело хохотала, припоминая какую-то глупую выходку Фаддея Савельича, игравшего роль шута на её вечеринках.

– Зачем вы меня зовете? – недовольным голосом спросила Анна. – Ведь вы сами говорили вчера, что мне надо работать, что я бедная.

Аксинья Ивановна затуманилась.

– Работать? – задумчиво проговорила она. – Оно, пожалуй, и правда, надо бы тебе работать, так и тетенька сказала… А только, что же мне-то одной сидеть, пока ты там с Аленой возишься?.. Нет, ты лучше вот что: возьми вон кружевца, что я на прошлой неделе начала, да и вяжи их: это все-таки работа, а ты можешь сидеть тут и говорить со мной. Алена и без тебя справится.

Анна взяла одно из бесчисленных бесполезных тамбурных вязаний Аксиньи Ивановны и уселась с ним на своем обычном месте у окна. Но, несмотря на оживление Аксиньи Ивановны, обычная беседа их не клеилась. Девочка не могла отдать себе ясного отчета в своих ощущениях, но ей было тяжело, в глубине души шевелилось у неё недоброе чувство против её благодетельницы.

«Думает, что если я ничего не выучусь, мне придется сделаться нищей, а не дает работать, – мелькало в уме её. – А ведь это вязанье какая же работа? – Алена говорит, что за все эти кружева никто гроша не даст. Зовет меня сидеть с собой, все мне рассказывает, обо всем со мной говорит, а как вчера старуха сказала, что мне нельзя сидеть наравне со всеми, так она ей ни слова в ответ»…

– Какая ты сегодня скучная, Анюта! – вскричала Аксинья Ивановна, видя, как принужденно улыбается девочка, как холодно относится ко всем и смешным, и грустным рассказам. – Неужели же тебе веселее с Аленой сидеть, чем со мной? Коли так, так уходи! Мне тебя не нужно!

Анна ушла, но не к Алене, а в свою комнатку. Там она до самого обеда сидела одна и думала и плакала, – о чем плакала, она и сама не могла бы хорошо объяснить, так смутны и отрывочны были её мысли.

С этого дня веселый смех девочки гораздо реже прежнего раздавался в тихих комнатах Постникова, на лице её стало часто появляться выражение недовольства и задумчивости, на добродушные шутки Аксиньи Ивановны и даже Андрёя Кузьмича она иногда отвечала сердито, резко, и не раз пришлось ей услышать от Аксиньи Ивановны:

– Чего это ты дуешься? Вот ненавижу, кто около меня сидит надувшись. Пошла уж лучше прочь!

Она шла в кухню, бралась за какую-нибудь работу, но Алена терпеть не могла вмешательства в свои кухонные дела. Она или с явным недоброжелательством поглядывала на непрошенную помощницу, или прямо говорила ей:

– Оставь ты меня, сделай милость, без тебя все справлю.

Глава VII

Один раз, вечером, Андрей Кузьмич, усевшись за ужин, объявил Аксинье Ивановне:

– А я сегодня получил письмо от сестры Груни.

– Что же она пишет? – осведомилась жена.

– Да что? Все про свои недостатки пишет… Известно, ей во вдовстве с пятью ребятами не сладко живется.

– Денег, верно, просит? – спросила Аксинья Ивановна.

– Нет, не денег, – я ведь ей недавно двадцать пять рублей послал, просит она пристроить её старшего сынка. Он, видишь ли, кончил курс в Городском училище, мальчик, пишет, скромный, не баловник, и грамоту, и счет хорошо знает. Ей хочется его как-нибудь к торговому делу определить. Я и подумал: взять бы мне его к себе. Куском он нас не объест, а мне в лавочке больно нужен мальчишка, особенно коли грамотный.

– Отчего же не взять, возьми! – согласилась Аксинья Ивановна. – Около тебя мальчик к делу приобыкнет, и сестра рада будет, что сын не в чужих людях живет; у нас, слава Богу, места не занимать стать, найдется.

Через месяц после этого разговора Постниковы сидели за утренним самоваром, когда к крыльцу их дома подъехала дорожная кибитка. Двое мужчин, сидевших в ней, поглядели на окна дома, освещенные утренними лучами солнца, но не выказали никакой охоты вылезать из экипажа; с облучка же кибитки соскочил мальчик лет тринадцати, одетый в сильно заплатанный полушубок, вытащил холщевый мешок, заключавший, очевидно, все его пожитки, и, раскланявшись со своими спутниками, несмелыми шагами направился к дверям дома.

– А ведь это Лешка! Грунин Лешка!.. Так и есть! – вскричал Андрей Кузьмич, выглянув из окна.

Андрей Кузьмич и Аксинья Ивановна встретили племянника со своей обычной ласковой приветливостью. Для него тотчас же подогрели самовар, подали горячую булку, масла, яиц. Аксинья Ивановна с грустью поглядывала на его старенькое заплатанное и перезаплатанное платье и все уговаривала его побольше есть. Андрей Кузьмич расспрашивал о его матери, младших братьях и сестрах, о их житье-бытье в маленьком городишке, где отец Алеши вел когда-то довольно бойкую торговлю, но не сумел свести концов с концами и, умирая, оставил семью почти без средств к жизни. Алеша говорил тихим, ровным голосом, и на все вопросы давал толковые, обстоятельные ответы. Это был худенький, стройный мальчик, лет тринадцати, с белым, нежным личиком, как у девочки, и с необыкновенно почтительными манерами, сразу пленившими сердце Аксиньи Ивановны. В разговоре он беспрестанно прибавлял частицу «с», вскакивал с места, когда вставали большие, а здороваясь и благодаря за чай, поцеловал у неё руку, и она тотчас решила, что он «славный мальчик» и стала мысленно соображать, какое старое платье Андрея Кузьмича можно бы перешить для него.

– Ну, Алеша, – сказал Андрей Кузьмич, в разговорах с племянником незаметно выпивший вторую порцию чаю, – ты отдохни с дороги, а я пойду в лавку, завтра и тебя возьму с собой: посмотришь на мою торговлю.

– Я-с, дяденька-с, не устал, – ответил, вскочив с места, Алеша, – позвольте-с мне сегодня идти с вами. Вы мне, дяденька-с, только покажете, что делать в лавке, а я уж постараюсь вам угодить.

– Ну, ин, ладно, пойдем, – согласился видимо очень довольный Андрей Кузьмич. – Смотри же ты, – обратился он к Аксинье Ивановне, – присылай нам обед на двоих, да к ночи приготовь молодцу постель.

– Славный мальчик, – заметила Аксинья Ивановна, как только дядя с племянником вышли. – Видно, что не баловник, в строгости держан.

Алена кивнула головой и промычала что-то в знак согласия; Анна нетерпеливо пожала плечами: она вовсе не почувствовала внезапного расположения к приезжему.

– Андрей Кузьмич, – продолжала рассуждать Аксинья Ивановна, – велел приготовить ему постель, а где он у нас будет спать, как ты думаешь, Аленушка? В передней холодно, наверху страшно одного ребенка положить в пустых комнатах, в кухне как будто не гоже, пожалуй, осерчает Андрей Кузьмич, скажет: для племянника места лучше не нашли… Вот что, Анюточка, жаль мне, да делать, видно, нечего: придется тебе перейти в кухню, а ему твою комнату отдать. Что делать, голубушка, нельзя иначе…

– Мне все равно; я могу хоть в кухне, хоть в передней спать, – ответила Анна голосом, дрожавшим от сдерживаемых слез.

Алеша не особенно понравился ей с первого взгляда. Когда же ей пришлось уступить ему и свою крошечную комнатку, и свою кровать, а самой примоститься на каком-то сундуке в кухне, она почувствовала к нему просто ненависть. А тут еще Аксинья Ивановна надоедала ей целый день разговорами о племяннике: то хвалила его вежливость и почтительность, то толковала о его бедности и о тех лишениях, каким ему приходилось подвергаться с раннего детства, то хлопотала получше приготовить для него обед и ужин, то рассуждала, как он может быть полезен Андрею Кузьмичу в лавке.

– И что вы нашли такого хорошего в этом Алеше? – не вытерпела наконец девочка. – По-моему, он просто дрянь, ничего больше.

– Ах, Анюточка! Не стыдно тебе так говорить? – вскричала Аксинья Ивановна. – Ты подумай только: ведь он родной племянник Андрея Кузьмича! Если ты против него пойдешь, Андрей Кузьмич рассердится… А ты, если умная девочка, так должна быть поласковее к нему, угодить ему, чтобы и он за тебя доброе слово замолвил хозяину.

– Вот еще, очень нужно! – вспылила Анна.

Аксинья Ивановна пожала плечами и замолчала. Сердитые вспышки Анны очень не нравились ей, но она редко бранила за них девочку. «Что обижать сироту?» – объясняла она свою снисходительность Алене. Чтобы сохранить домашний мир и покой, она или переменяла неприятный разговор, или даже просто уходила из комнаты.

Хорошее впечатление, произведенное на Аксинью Ивановну Алешей, еще увеличилось, когда Андрей Кузьмич, вернувшись из лавки, рассказал ей, как вел себя этот мальчик, как он внимательно слушал все его объяснения и указания, как был аккуратен, как услужлив с покупателями, как быстро считал на счетах, каким красивым и четким почерком писал.

– Конечно, по первому дню судить нельзя, – прибавил Андрей Кузьмич, – известно, новая метла всегда хорошо метет, но только, если он останется таким, то это сущий клад нам Бог послал.

Скоро оказалось, что и в домашней жизни Алеша был кладом. Он, правда, редко бывал дома, большую часть времени проводил с дядей в лавке, но и в эти немногие часы он сумел всем угодить. Когда он входил во двор, Федот приветствовал его самой широкой улыбкой; за каждую мелкую услугу он так сердечно благодарил Алену, что у неё являлось желание оказывать ему как можно больше таких услуг; об Аксинье Ивановне и говорить нечего: никто лучше Лешеньки не держал ей нитки и шерсть при разматывании клубков, никто не находил так быстро ключи, которые она имела привычку ежеминутно терять, никто так ловко не пододвигал ей стул, не поднимал упавшую у неё вещь, как он. Когда, по воскресеньям, он твердо, без малейшей запинки прочитывал ей весь листок еженедельной газеты, она приходила в настоящее умиление, а когда за всякий ничтожный подарок он целовал её руки со слезами благодарности на глазах, она находила, что лучшего мальчика не может быть на свете.

Даже цепная собака скоро перестала лаять на Алешу: она знала, что у него всегда припасена для неё корочка-другая хлеба, и потому ласково махала хвостом при появлении его.

С Анной Алеша старался сблизиться, но попытка его оказалась неудачной. В первое воскресенье по приезде его Аксинья Ивановна после обеда угостила его яблочной пастилой собственного приготовления. Алеша взял маленький кусочек, а другой, побольше, предложил девочке.

– Мне не надо, – угрюмо отвечала Анна, обиженная тем, что Аксинья Ивановна не вспомнила об ней. – Я захочу, так сама возьму.

– Откуда же ты возьмешь? – удивился Алеша.

– Откуда? Известно, из кладовой. Пойду, целый ящик принесу да и съем.

– Но ведь это же не твоя пастила, как же ты можешь ее взять? – продолжал спрашивать Алеша.

– Эка беда! Я всегда все беру! Аксинья Ивановна ничего не говорит…

– Тетенька очень добрая, а все-таки это нехорошо брать без спроса. Я даже у папеньки ничего не смел брать. А здесь мы ведь не свои дети, как же нам можно так?

– Ну, тебе нельзя, так ты и не бери, а мне можно.

Анна убежала и, в доказательство справедливости своих слов, вернулась через две минуты с огромным куском пастилы.

Андрей Кузьмич слышал весь разговор детей и был вполне на стороне мальчика. Своеволие Анны возмущало его.

– Ты как смеешь по кладовым ходить? – закричал он на нее. – Сейчас снеси назад пастилу и в другой раз ничего не смей брать, пока тебе не дадут!

Анна покраснела, бросила пастилу на стол и убежала из комнаты, сильно хлопнув дверью.

– Какая сердитая! – заметил Алеша.

– Избаловалась девочка! Надо бы ее в руки взять, – проворчал Андрей Кузьмич.

Анна находила, что в постигшей ее неприятности виноват Алеша, и несколько дней дулась на мальчика, сердито отвечала на все его вопросы, на все старания завести с ней дружелюбный разговор.

Девочка не понимала, как и почему это случилось, но с приездом Алеши ей стало жить гораздо хуже прежнего. Алеша ничем ее не обижал, напротив – был к ней так же услужлив, как ко всем, но он очень часто давал ей советы, останавливал ее, когда она при нем делала или говорила что-нибудь не так, необыкновенно как-то часто находил носовые платки, оброненные Анной, её неприбранное рукоделье, полотенце, употребленное ею второпях вместо тряпки; он всегда замечал всякое пятно, сделанное ею на скатерти или на столе, всякую дырочку на её платке, и во всеуслышание объявлял об этом беспорядке. В разговорах с ней он беспрестанно называл дядю и тетку её благодетелями, внушал ей, как она должна быть благодарна им за то, что они призрели ее, бедную сироту, твердил, что ей надо всеми силами стараться заплатить им за их добро. Все это говорилось, как нарочно так, чтобы Андрей Кузьмич и Аксинья Ивановна могли слышать. Они умилялись прекрасными чувствами племянника и негодовали на бесчувственную девочку, которая не разделяла этих чувств. В глубине души Анна сознавала, что слова Алеши справедливы, но все-таки ей было неприятно, когда с ней об этом говорили, и кто же говорил? Мальчик, который был моложе и меньше её ростом, такой слабенький, что она без труда могла бы повалить его. Иногда она с досады нарочно начинала спорить, уверять, что все это неправда, что она и без Постниковых отлично прожила бы; но чаще она просто топала ногами, хлопала дверями и убегала прочь со слезами бессильной злобы на глазах. Пока не было в доме Алеши, все смотрели снисходительно на её недостатки, даже почти не замечали их, – известное дело, ребенок еще, что с неё возьмешь, – но с появлением Алеши невольно приходилось сравнивать ее с этим другим ребен-

ком, и сравнение всегда было не в пользу Анны. Воспитанный строгой матерью, с ранних лет приученный к почтительности и аккуратности, тринадцатилетний Алеша казался каким-то маленьким старичком.

Но именно это-то и нравилось Постниковым. Он тщательно берег все свои вещи; если дядя или тетка дарили ему какую-нибудь мелкую монетку, он никогда не тратил ее на гостинцы, на «глупости», а всегда покупал на нее какую-нибудь полезную вещь, – карандаш, почтовую марку, чтобы послать письмо матери, пуговки себе к рубашкам, бумажный носовой платок, а если ему ничего не нужно было покупать, он аккуратно завертывал монетку в бумажку и припрятывал ее в глубине своего сундучка. К чужому добру он был точно так же бережлив. В лавке он очень скоро узнал цену всех вещей: сколько следует запрашивать с покупателей, за сколько уступать им, и ни за что на свете не решился бы сбавить ни одной копейки с назначенной цены. Дома он всегда смотрел, чтобы Федот не дал лошади лишней горсти овса, искренно жалел, если, по небрежности Алены, портился горшок молока, так часто удивлялся, отчего это кладовые не всегда под замком, что пристыдил Аксинью Ивановну, и она стала внимательнее относиться к своим ключам.

По праздникам Алеша никогда не порывался идти играть в городки с соседними детьми: у него было довольно дела дома. Он ходил в церковь с Андреем Кузьмичом, потом читал тетке газету, или писал матери письмо, или сводил счеты для дяди, или, наконец, усердно занимался починкой своего платья и даже сапог.

– Славный парень наш Лешка! – замечал жене Андрей Кузьмич. – Смотри, какой домовитый хозяин из него выйдет. Велик ли еще человек, а знает цену всякой копейке и без дела не привык сидеть. Нечего сказать, Груня сумела научить. Вот что значит ребенок при хорошей матери рос!

При этом он полусострадательно, полупрезрительно поглядывал на Анну. Да, Анна не могла похвастать ни одним из тех качеств, которые так нравились Андрею Кузьмичу в племяннике; к аккуратности и бережливости ей негде было привыкнуть; в приюте у неё, кроме толстой, и грубой одежды, не было собственных вещей, денег она там совсем не видала; она очень смутно представляла себе, как и откуда люди добывают все необходимое, а Постниковы сразу показались ей удивительными богачами, у которых всего было так много, что смешно было жалеть их добро, беречь платья, подаренные ими, не лакомиться вкусными вещами, лежавшими в их кладовых. К трудолюбию ее, как мы видели, приучали очень старательно, но она не понимала, чтобы можно было работать иначе, как по принуждению, и, избавясь от этого принуждения, очень охотно бездельничала целыми днями.

Алеша от природы был тихий, скрытный; внушения матери еще более развили в нем сдержанность. Анна, напротив, никогда не скрывала своих чувств, даже когда за это в приюте ей грозили тяжелые наказания. Она скакала от радости и хлопала в ладоши, как маленький ребенок, в припадках нежности душила поцелуями Аксинью Ивановну, но если ее что-нибудь раздражало, она, не стесняясь, выказывала свой гнев. Пока не было Алеши, ей очень редко приходилось сердиться, и Аксинья Ивановна, больше всего на свете дорожившая домашним миром и тишиной, всегда успевала устроить так, что Андрей Кузьмич не замечал этих вспышек. Но теперь ссоры между детьми повторялись так часто, что скрыть их не было возможности.

– Уйми ты девчонку! – несколько раз говорил жене Андрей Кузьмич, слыша, как, в ответ на степенное и разумное замечание Алеши, Анна кричит на него, бранит его. – Уйми, хуже будет, как я сам примусь учить ее.

Аксинья Ивановна несколько раз пыталась усовещивать девочку, но бралась за дело так неловко, что только подливала масла в огонь.

– Как ты можешь так кричать на Алешеньку? – говорила она. – Ведь ты знаешь, что он племянник Андрея Кузьмича! – Ты должна любить его, услуживать ему.

– Племянник, так и любить? – дерзко отвечала Анна. – Этакого противного мальчишку «любить»?.. Я его просто ненавижу!

– Да ты хоть при Андрее Кузьмиче не показывай этого, – продолжала Аксинья Ивановна. – Он на тебя сердится, говорит: примусь сам ее учить.

– А что он мне сделает? – спрашивала девочка, нисколько не испуганная этой угрозой.

– Что?! Оттаскает тебя за волосы да поколотит раз-другой, так будешь знать что! – отвечала Аксинья Ивановна, раздосадованная её упорством.

Мы уже видели, что угрозы и наказания никогда не производили хорошего действия на Анну. Пока Андрей Кузьмич был снисходительным хозяином, добродушно посмеивавшимся над её недостатками и без задержки выдававшим деньги на её нужды, она готова была и слушаться, и угождать ему. Но когда он стал посматривать на нее сердито, когда она узнала, что он собирается бить ее, она сразу стала смотреть на него, как на своего врага.

Бывало, чуть завидит она в окно, что он возвращается из лавки, тотчас кричит об этом Аксинье Ивановне и бежит помогать Алене собирать чайную посуду, подавать самовар. Теперь, когда он, входя в комнату, находил стол ненакрытым и обращался к ней с вопросом: «Что же чай?» – она, не двигаясь с места, отвечала:

– А я почем знаю? Спросите Алену!

Прежде она готова была плакать, когда он рассказывал о каком-нибудь убытке, понесенном им в торговле, и шумно радовалась, если он сообщал о своих удачах, теперь же она совершенно равнодушно слушала его рассказы. Андрей Кузьмич заметил перемену в её обращении, но причины этой перемены не доискивался, а все приписывал баловству Аксиньи Ивановны. Чтобы сколько-нибудь уничтожить дурные последствия этого баловства, он старался держаться как можно строже с девочкой. Прежде он был доволен, когда она принимала участие в разговоре, и охотно объяснял ей то, что она не понимала, теперь, напротив, он останавливал ее на полуслове и сурово замечал:

– А ты знай себе помалкивай, пока тебя не спросили. Старшие промеж себя говорят, так тебе соваться нечего.

Не раз пришлось Анне выслушать от него: «Дура неотесанная!», «Неряха!», «Дрянь девчонка» и тому подобные нелестные названия, все более и более озлоблявшие ее.

Все деньги, необходимые на домашние расходы, хранились у Андрея Кузьмича, и он сам выдавал Аксинье Ивановне, сколько считал нужным для ведения хозяйства. Когда ей хотелось купить себе какую-нибудь обнову, она должна была просить денег у мужа, и он почти никогда не отказывал ей, хотя не упускал случая поворчать на «бабье мотовство».

На все необходимое для Анны выдавал также он и первое время выдавал щедрой рукой, так что Аксинья Ивановна могла рядить свою воспитанницу не хуже любой купеческой дочки. Но после именинного вечера, на котором Капитолина Матвеевна высказала такое резкое мнение о девочке, Андрей Кузьмич решил, что Анну следует одевать гораздо проще, что ей не годится носить шерстяные платья, шелковые платочки да модные туфельки. Наконец, когда он заметил, что Анна стала дерзкой и непочтительной, он перестал давать деньги на её одежду.

– Андрей Кузьмич, весна на дворе, Анюточке бы надо пальто новое купить, из прошлогоднего она уж очень выросла, – говорила Аксинья Ивановна, выбрав минуту, когда хозяин был в особенно хорошем расположении духа.

– Анюте пальто? – переспросил Андрей Кузьмич, хмурясь. – И почище её да без этих затей ходят. Оно, пожалуй, пальто можно бы купить, да кабы она этого стоила. Ты, вон, за нее просишь, а она слова не скажет. Когда не надо, так речиста, а попросить не умеет.

Анна низко опустила голову и отвернула покрасневшее от волнения лицо. Ей сильно хотелось получить новое пальто, но слишком тяжело было просить Андрея Кузьмича, который все последнее время постоянно сердился на нее.

– Ишь, ведь, ты какая упрямая девчонка, – сказал он, видя, что от неё не дождаться просьбы. – Хоть бы то подумала: с чего я буду тебя баловать да тебе обновы делать? Вон я Алеше сапоги новые купил, так он их заработал, он не на шесть рублей пользы принес мне в лавке, а ты что? Работы никакой не хочешь делать, а туда же щеголять охота. Пальто ей купи… Ничего я тебе не куплю! Все это баловство одно… Будешь ты меня почитать, угождать мне – так и быть, дам тебе на одежду что-нибудь, а будешь все этак нос воротить да дерзости делать – гроша медного от меня не увидишь. Так и знай.

Анна разрыдалась и ушла оплакивать свое горе в темный угол кухни, служивший ей прибежищем с тех пор, как её комнату занимал Алеша. Досаднее всего, что все находили Андрея Кузьмича вполне правым, все ее же обвиняли…

– Смири ты свой нрав, Анюточка, – ласково советовала ей Аксинья Ивановна. – Беда, как Андрей Кузьмич совсем от тебя откажется, пропадешь ты.

– Коли ты такая большая да здоровая девка, – ворчала Алена, – куска хлеба себе заработать не можешь, так известно ты должна кланяться да просить; тут нечего реветь, ревом не поможешь.

Алеша так долго толковал ей о благодеяниях Андрея Кузьмича, о том, как перед ним она всегда должна быть тише воды, ниже травы, что она вышла из терпенья и грубо вытолкала его за дверь.

Знакомых, подруг, перед которыми она могла бы выплакать свое горе, у неё не было. Приятельницы Аксиньи Ивановны очень скоро заметили, что Анна в немилости у хозяев, а появление в доме Алеши окончательно убедило их, что напрасно было считать ее приемной дочерью, будущей наследницей Постниковых. Они перестали приглашать ее к себе и отпускать к ней своих дочерей, а те, встречая на улице Анну в поношенных, коротких платьицах, еле кланялись ей.

Счастливая жизнь Анны в доме Постниковых исчезла бесследно. Теперь она почти всегда сидела надутая, сердитая или заплаканная, и Аксинья Ивановна, не находя в ней прежней беззаботной и веселой собеседницы, все больше и больше отдалялась от неё. Андрей Кузьмич иначе не говорил с ней, как строго, повелительно. Алеша донимал ее своей аккуратностью и бережливостью. Доступ в кладовые был совсем закрыт для неё; за чаем, чуть только она протягивала руку к свежей булке, Алеша тотчас же замечал:

– Анюта, возьми лучше половину этого хлебца: надо прежде съесть черствые булки, а потом уже приниматься за свежие…

За обедом он постоянно останавливал ее:

– Анюта, не бери этого куска, оставь дяденьке, пусть он кушает: нам с тобой и остаточков довольно, не важные мы птицы…

Если она, забывая, что он тут, обращалась с прежней непринужденностью к Аксинье Ивановне и просила у неё или какую-нибудь безделицу, или чего-нибудь сладенького, он всегда со вздохом говорил:

– Эх, Анюта, какие нам гостинцы? Слава Богу, что кормят да одевают нас, мы и за это должны быть благодарны. Мы себе еще и куска черного хлеба заработать не можем, а ты сладенького просишь.

– Оставь ты, пожалуйста. Не твое это дело, – горячилась Анна, но Андрей Кузьмич всегда брал сторону племянника, и в конце концов девочка принуждена была замолчать и со слезами бессильной злобы уходить вон из комнаты.

Дело дошло до того, что она просто возненавидела Алешу, и иногда нарочно поступала дурно, чтобы только не делать так, как он хочет.

Глава VIII

В один воскресный вечер Алеша и Анна сидели вдвоем в комнате. Алеша писал письмо к своей матери, Анна грызла подсолнечные семечки и бесцельно глядела в окно. Аксинья Ивановна вошла с расстроенным лицом и объявила, что Андрей Кузьмич захотел моченых яблок, а она, как нарочно, потеряла ключ от кладовой.

– Я сейчас поищу вам его, тетенька, – предложил Алеша, бросил писанье и принялся тщательно разыскивать потерянный ключ.

– А ты, Анюта, что же не поищешь? – обратился он к девочке. – Видишь, как тетенька беспокоится.

Анна промолчала.

– Анюта! Да поищи же и ты! – снова позвал он ее, обшарив соседнюю комнату и еще раз заглядывая под диваны и столы.

– Ищи сам, коли тебе нравится, а меня оставь в покое, – отрезала Анна.

– Какая ты неуслужливая, – продолжал настаивать Алеша, ползая на четвереньках. – Что бы тебе заглянуть под шкаф? Ведь ты же ничего не делаешь; так себе, сложа руки сидишь.

– Говорю тебе: не смей учить меня, гадкий мальчишка! – закричала Анна, вскакивая с места и топая ногой. – Если ты еще хоть слово мне скажешь, я отколочу тебя.

И она уже замахнулась, чтобы исполнить свою угрозу.

– Ах ты, дрянь девчонка! – раздалось в эту минуту над самым ухом её, и Андрей Кузьмич ударил ее по протянутой руке, а потом по спине.

Анна вскрикнула и с громким воплем убежала прочь. За последнее время она отвыкла от побоев; кроме того, теперь она была уже почти взрослая девушка, она почувствовала не столько боль от удара, сколько обиду, унижение. Ее часто бранили, упрекали, – этого мало: теперь уже ее начинают бить, и всему виноват этот негодный мальчишка. Она так ненавидела Алешу в эти минуты, что готова была бы исцарапать и задушить его своими руками.

Аксиньи Ивановны не было в комнате во время быстрой расправы Андрея Кузьмича; прибежав на шум и узнав, в чем дело, она встревожилась и тотчас же пошла разыскивать Анну. Но ее не было ни в кухне, ни в сенях, ни в одной из комнат.

– Чего ты ее ищешь? – закричал на жену Андрей Кузьмич. – Небось, ничего ей не станется, что я немножко поучил ее. Почаще бы надо, так она была бы шелковая, а то совсем от рук отбилась девка.

Но час проходил за часом, а девочка не появлялась.

– Боюсь, не сделала ли она чего над собой. Отчаянная она какая-то! – волновалась Аксинья Ивановна.

Уже после ужина, уходя спать, Алеша услышал легкий шорох в чулане под лестницей, и Аксинья Ивановна не без сильного страха вошла туда. Там, действительно, укрылась Анна. Она сидела в углу с растрепанными волосами, бледная, с посинелыми губами и глазами, горевшими лихорадочным блеском. Аксинья Ивановна даже перекрестилась при виде её.

– Анюточка! Что же это? Куда ты забилась? – мягким голосом заговорила она с ней. – Иди, покушай чего-нибудь!

Анна молча покачала головой.

– Ну, так спать иди на свою постель; что здесь, в холоде да в пыли, сидеть? Иди, иди, милая, Андрей Кузьмич спать лег, он тебя не увидит.

Анна как-то машинально встала и пошла за Аксиньей Ивановной, не заметив даже Алешу, который провожал тетку со свечой в руке. Машинально разделась она и легла на свою постель, в кухне. Но ей было не до сна. Тяжелые мысли не давали ей покоя, она беспрестанно

ворочалась, вздыхала, всхлипывала. Аксинья Ивановна, успокоившись, что девочка «ничего над собой не сделала» и улеглась на обычном месте, перекрестила ее и ушла к себе. Алена не спала: ей надо было месить хлебы и она, по-видимому, усердно занималась квашней, но это не мешало ей слышать вздохи Анны. Покончив с тестом, она подошла к девочке.

– Что, больно разве побил он тебя, что ты все охаешь? – спросила она.

– Нисколько мне не больно, – отвечала Анна, – а только не смеет он меня бить; не смеет и не смеет!

– Глупа ты еще, как я на тебя посмотрю, – с соболезнованием проговорила Алена, качая головой. – Как это так не смеет? Кто ему запретит? Ты на всей его милости живешь, что хочет, то с тобой и делает. А не согласна, сделай одолжение – отправляйся на все четыре стороны, на место тебя сотни найдутся, да и на что ему такие-то?

– Они меня заместо дочери взяли, я думала они меня любить будут, а он вон какой! – плакала Анна.

– Заместо дочери?! Любить!? – насмешливо повторила Алена. – Да за что же это им любить-то тебя, скажи на милость? Вон, взять хоть бы Алешу: его, может, и вправду хозяин заместо сына примет, потому, одно слово – племянник, а другое – мальчик угодливый. Что у него там на душе – неизвестно, а услужить, угодить и дяденьке, и тетеньке умеет. А в тебе ничего этого нет, как я посмотрю.

Анна молча плакала, не находя ответа на слова Алены. А Алена, обыкновенно такая суровая и молчаливая, вдруг разговорилась. Она подвинула стул к постели, села на него, и через несколько секунд продолжала:

– Конечно, сироте трудно жить на свете, побранить да поучить всякий рад, а доброе слово не всякий скажет. Я сама сиротой росла, а только стала я в возраст приходить, никто меня пальцем не тронул. Потому я работать лиха была. Бывало, у кого ни живу, никто куском не попрекнет, всякий рад: поживи да поживи. Потому я за двух мужиков всю работу исполняю. Вот, взять хоть бы наш хозяин. Он слова мне супротив не скажет. Знает, чуть что, я узел свой связала, да и ушла; я место себе всегда найду, а ему такую работницу, как я, в жизнь не найти. А ты что? Ты никуда не уйдешь, ты все должна сносить да еще благодарить, что поучили, ума-разума прибавили.

– Не хочу я этого! вскричала Анна. Не хочу я все сносить! Вот еще! И я тоже уйду! Захочу, так и уйду!

– Эх, девонька, девонька! – сказала Алена, с сожалением поглядывая на нее. – Легко сказать уйду, да надо знать куда. Ты уж не младенец, будешь мерзнуть под воротами, никто тебя не приютит, всякий скажет: «Ишь, она, сильная да здоровая, работать может; коли попрошайничает, значит лентяйка!»

– Ну, я буду работать. Я, ведь, умею!

– И давно бы тебе пора! – согласилась Алена. – Как погляжу на тебя, не к добру ты привыкаешь этак без дела-то жить. Станешь работать, увидят люди, что ты на что-нибудь годна, так и будут про тебя знать. А этак что жить? Всю жизнь из чужих рук глядеть – это не ладно, ты уж не маленькая!

Разговор с Аленой не утешил Анну, но он несколько успокоил ее, дал другое направление её мыслям. Она перестала просто злиться на Андрея Кузьмича да на Алешу и придумывать разные планы мщения им обоим, Алена указала ей новое средство избавиться от их притеснений. Она очень смутно представляла себе, какова может быть для неё рабочая жизнь, но это все-таки было что-то новое, а старое казалось ей таким тяжелым, таким неприятным, что она ухватилась всем сердцем за это новое и, в мечтах о нем, спокойно заснула.

На следующее утро первым ощущением Анны было неопределенное чувство какой-то неприятности, какой-то обиды. Когда она ясно вспомнила все, что произошло накануне, она объявила, что не пойдет пить чай вместе с Андреем Кузьмичом. Никто не обратил на

это большого внимания, но когда она и перед ужином отказалась идти есть вместе со всей семьей, Аксинья Ивановна заволновалась.

– Что это ты, Анюта, как можно? – говорила она. – Андрей Кузьмич спросит про тебя, что я ему скажу? Он еще пуще на тебя осерчает!

– Не дело ты выдумала! – поддакнула Алена. – Его хлеб-соль ешь, да на него же дуешься! Разве это порядок?

Анна осталась при своем, и пока вся семья садилась за ужин, она спряталась в темных сенях. Андрей Кузьмич заметил её отсутствие; он совсем забыл вчерашнее происшествие и благодушным голосом спросил, отчего Анюта не идет за стол.

– Не хочет она, – смущенно отвечала Аксинья Ивановна. – Очень уж ты изобидел ее вчера… Девочка она не маленькая… Обидно ей показалось…

– Вот оно что! – проговорил Андрей Кузьмич и насупился. – Ей обидно? А как она вчера с кулаками на Лешку лезла – это ничего? Скажите, пожалуйста, фря какая! Обиделась!.. Я взял ее нищую с улицы, пою, кормлю, одеваю, да еще она на меня обижаться смеет! Что же она думает, я ей кланяться буду, прощенья у неё просить? Как же, жди! Ушла, спряталась – ну, и пусть голодом сидит! И не сметь ей ничего давать, слышите – ничего!

Он грозно постучал по столу кулаком, сердито глядя на обеих женщин. Аксинья Ивановна заикнулась было сказать что-то в пользу Анны, но новое постукиванье кулака заставило ее замолчать.

Анна слышала все, что говорил Андрей Кузьмич, и каждое слово его болью отзывалось в её сердце. Да, значит, Алена говорила правду, ее в самом деле считают нищей, никому ненужной, держат только из милости и думают, что за это она должна терпеливо переносить и оскорбления и даже побои…

Как только хозяева ушли к себе в комнату и дверь за Алешей затворилась, она вышла из своего убежища и постаралась возобновить с Аленой вчерашний разговор.

– Вот, ты говоришь, – начала она, – что если кто хорошо работает, того не бьют, не обижают. Я бы также хотела работать, только что же мне делать?..

– А я почем знаю? – со своей обычной угрюмостью отозвалась Алена. – Я не знаю, какое тебе здесь может быть дело! Разве хочешь на место меня в работницы поступить?

– Ах, нет, что ты! – вскричала Анна. – Здесь мне, конечно, делать нечего!.. А я так думаю, – робко прибавила она, – нельзя ли мне поискать себе другого какого-нибудь места?.. Ведь я же могу работать!.. Как ты думаешь?

– Отчего не работать? Силы у тебя есть, уменья только не хватает, не привычна ты еще, ну, на первое время за жалованьем не гонись. Поживешь, попривыкнешь, будешь не меньше других получать.

– А как же мне места искать, Аленушка? Я ведь не знаю! – жалобно сказала Анна. – Ты мне поищешь?

– Поспрошу у знакомых, может, кто и знает, надо дело делать толком, поискать хозяев добрых, а так зря ко всяким тебе идти не стоит! – рассудила Алена.

Анна успокоилась. Теперь она могла сидеть в одной комнате, за одним столом с Андреем Кузьмичом, могла даже равнодушно слушать и его упреки, и нравоучения Алеши: все равно – это ненадолго. Она уйдет от них, непременно уйдет, куда бы то ни было, на какую бы то ни было работу, только бы знать, что ее не попрекнут куском хлеба, не будут считать из милости взятой нищей… На следующий вечер она села к ужину на свое обычное место. Лицо её было бледно, но спокойно; она решила, что при первом оскорбительном слове Андрея Кузьмича объявит ему о своем намерении. Но Андрей Кузьмич был человек незлопамятный; выбранив кого-нибудь без всякой церемонии, он не мог долго сердиться на него, к тому же в этот вечер он вернулся домой усталый, но в самом благодушном настроении: день был базарный, покупатели, по обыкновению, толпились в его лавке и он с удоволь-

ствием соображал, сколько получил барышей. При виде сжатых губ и нахмуренных бровей девочки он несколько раз насмешливо усмехнулся, но не сказал ни слова. Аксинья Ивановна надеялась, что дело уладится, что после наказания Анна станет смирнее, покорнее, а хозяин смягчится и даст денег купить ей новое платье.

Каково же было удивление её, когда дня через три после этого Анна без всяких предисловий прямо объявила ей, что хочет уйти от них, хочет поступить на место, и что огородница Федосья Яковлевна берет ее к себе.

– Как на место? Что ты, Анюточка? Перекрестись! К огороднице? К Федосье? Да ведь у неё шесть штук ребят, мал мала меньше, да они еще работников держат. У неё работы столько, что страх! У нас ты барыней живешь, дела за тобой никакого нет, ешь, пьешь сколько хочешь, и за нарядами Андрей Кузьмич не постоит, только будь почтительнее к нему. Ты обижаешься на него, что он тебя намедни поучил немножко, а ты думаешь легче тебе будет чужих ребят нянчить да за работой спину гнуть? И с чего тебе такая глупость в голову пришла?

Анна напрасно старалась объяснить Аксинье Ивановне, что именно заставляет ее уйти и попытаться начать трудовую жизнь. Аксинья Ивановна не могла или не хотела понять ее, а девочка не умела ясно высказать те мысли и чувства, которые так мучительно волновали ее. В разговор вмешалась Алена:

– Да чего вам ее держать? – обратилась она к хозяйке. – Она может сама себе кусок хлеба заработать, зачем ей на даровых хлебах жить? Что она здесь? Хозяину угодить она не умеет, с Алешей ссорится, от всякого дела отбивается… Не ладно это, как хотите!

Когда Алена так решительно поднимала голос, Аксинья Ивановна обыкновенно уступала ей. Но настоящее дело было слишком важно, его мог решить только Андрей Кузьмич, и Анна должна ждать, как он рассудит.

Узнав о намерении девочки, Андрей Кузьмич удивился не меньше жены. Несколько секунд сидел он молча, задумавшись.

– Ты что же это, со зла на меня задумала от нас уходить? – спросил он Анну.

– Нет, право не со зла, – уверяла она, – а только я ведь здесь никому не нужна… и… Надо мне работать, вы сами говорили, и все говорят… Я ведь уж не маленькая!..

Андрей Кузьмич опять задумался.

– Ты к кому же это хочешь поступить? – спросил он.

– К Федосье Яковлевне, к огороднице.

– Федосья Яковлевна женщина хорошая, она тебя зря не обидит и к работе приучит. Что ж, попробуй, каково оно сладко своими трудами жить, попробуй, тогда авось и нашу хлеб-соль больше оценишь. А только помни, я тебя не гоню, по мне ты хоть всю жизнь у нас живи, ты нас куском не объешь.

Анна приняла слова Андрея Кузьмича за согласие и на другой же день отправилась вместе с Аленой к Федосье Яковлевне, чтобы окончательно сговориться с ней, а через два дня уже укладывала все свои небольшие пожитки в сундучок, подаренный ей Аксиньей Ивановной.

Аксинья Ивановна несколько раз пробовала уговаривать ее по-прежнему спокойно жить у них, несколько раз даже всплакнула, что: «вот, мол, призрели, пригрели сироту, а она, чуть подросла, и уж покидает нас», но затем обиделась на упорство Анны и замолчала. Андрей Кузьмич не высказывал ничего, но в душе был доволен решением Анны: он начинал тяготиться этой почти взрослой девушкой, которая жила в доме без всякого дела, без всякой пользы, требовала и для себя лишних расходов да еще, вместо благодарности, часто причиняла неприятности. Алена поддерживала Анну и одобряла её поступок. Алеша, несмотря на свою всегдашнюю сдержанность, прямо показывал, что рад её отъезду. Конечно, он не мог чувствовать большого расположения к девочке, которая сама всегда враждебно относилась

к нему; кроме того, не по летам расчетливый мальчик сообразил, что ему гораздо выгоднее одному, безраздельно, пользоваться милостями дяди и тетки.

Глава IX

Огород Ивана Прохоровича Скороспелова занимал десятины две земли на самой окраине города, недалеко от дома Постникова. Самые лучшие, самые ранние овощи, появлявшиеся на городском базаре, произрастали на этом огороде. Ни один парадный обед не обходился без спаржи или артишоков Ивана Прохоровича, а хорошие хозяйки были в отчаянии, если не успевали купить его огурцов для соленья, его капусты для квашенья. Иван Прохорович с любовью занимался своим делом. Всегда тихий и молчаливый, он оживлялся только тогда, когда речь заходила о каком-нибудь необыкновенном огородном растении. Постоянно занимался он разными опытами: то пробовал сеять семена, выписанные издалека и неизвестные в его городе, то пытался удобривать или обрабатывать часть земли каким-нибудь особенным, мало употребительным способом. Как человек мало образованный, полуграмотный, Иван Прохорович делал все свои опыты не на основании каких-нибудь научных знаний, а так, просто, по собственному соображению или понаслышке, и немудрено, что опыты эти оказывались по большей части неудачными. Федосья Яковлевна, жена Ивана Прохоровича, часто ворчала на мужа за его «глупые выдумки», как она говорила.

– Все-то тебе, Прохорыч, надо не так, как у людей! – пилила она его. – В прошлом году ты каким-то своим французским салатом три гряды испортил, нынче вздумал зачем-то известку валить на огород. Хоть бы то подумал, у нас дети, ты ведь их в раззор разоришь. И то, смотри, ты трудишься целые дни, я работаю, рук не покладая, и все у нас ничего нет; другие, вон, богатеют, а мы с хлеба на квас перебиваемся.

Иван Прохорович не возражал жене: он никогда ни с кем не спорил. Он молча вздыхал, как бы сознавая всю справедливость её упреков, а потихоньку от неё все-таки пробовал примешивать известку к земле на нескольких грядах своего огорода.

Жалуясь на бедность, Федосья Яковлевна была не совсем права. Совершенными бедняками Скороспеловых нельзя было назвать. Путем постоянных трудов и бережливости им удалось понемногу уплатить деньги за землю под огород, построить домишко для жилья, обзавестись и лошадью, и коровой, и всем необходимым в хозяйстве. Природа оделила обоих их железным здоровьем и упорным трудолюбием; Федосья Яковлевна напрасно предсказывала разорение в будущем. Ничего лишнего, никакой роскоши ни в пище, ни в одежде семья не могла себе позволить, но все-таки она всегда была сыта и одета, – не богато, но порядочно. Иван Прохорович держал обыкновенно двух, даже трех работников, которые помогали ему справляться с обработкой огорода; вся домашняя работа лежала на одной Федосье Яковлевне. Работы этой было не мало: и стряпня, и стирка белья, шитье, и уход за коровой, и содержание в чистоте не только дома, но даже двора, и присмотр за работниками в те дни, когда муж отлучался из дому, и главное – возня с детьми; каждый год в домике Скороспеловых появлялся новый маленький жилец, такой же буйный и крикливый, как его братья, так же настоятельно требовавший постоянного внимания к своей крошечной особе. Пока таких жильцов было только пятеро, пока только десять детских ручек цеплялись за подол матери, только пять лохматых белобрысых головок ежеминутно обращались к ней – то с ласковой просьбой, то с жалобным плачем, то с сердитым требованием, она кое-как справлялась. Но когда на свет Божий появился маленький Вася, обещавший превзойти крикливостью всех остальных, Федосья Яковлевна не выдержала.

– Как ты себе хочешь, – объявила она мужу, – а мне невмоготу. И за детьми смотри, и дело делай: просто хоть разорвись! Надо мне себе кого-нибудь в помощь взять.

Иван Прохорович, по обыкновению, молча согласился.

– Настоящей работницы мне не надо, – продолжала Федосья Яковлевна, – а так хоть бы старуху какую, либо девчонку, чтобы за ребятами присмотрела да немножко мне помогла. Большого жалованья мы, известно, платить не можем.

Против этого Иван Прохорович также ничего не возразил, и Федосья Яковлевна в тот же день принялась подыскивать старуху или девочку-подростка, которая согласилась бы работать почти как взрослая, получая вполовину меньше жалованья. Анна очень понравилась ей – и тем, что бралась охотно за всякое дело, и тем, что не знала еще цены деньгам и, не торгуясь, соглашалась пойти за самое ничтожное вознаграждение.

– Ты сирота, – ласково говорила Федосья Яковлевна, любуясь её здоровым видом, – у тебя никого нет, ты будешь у нас жить, как в родной семье: поработаешь для нас, приласкаешь наших деток, и мы тебя не оставим.

В день переезда Анны у Федосьи Яковлевны были, как нарочно, полны руки дела: ей надо простирнуть мужу рубашку (завтра в баню пойдет, смениться нечем), и месить да печь хлебы, и готовить ранний ужин. Иван Прохорович был целый день в городе, не обедал и рассчитывал сытно поесть, вернувшись под вечер домой, а тут, как на зло, дети одолевали; Вася кричал во все горло, как только мать клала его в люльку; двухлетний Ваня был не совсем здоров, не шел никуда из избы, все пищал и плакал, а двое старших мальчиков, Гриша и Сеня, вздумали лазать по заборам и жесточайшим образом разорвали свои штанишки и рубашонки. Необходимо было как можно скорей приняться за починку их костюма, так как они очень нетерпеливо выносили свой арест в комнате и каждую минуту могли выразить это нетерпение какой-нибудь неприятной шалостью.

Завидя из окна подъезжавшую Анну, Федосья Яковлевна выскочила ей навстречу.

– Ну, как я рада, что ты приехала, голубушка! – вскричала она. – Уж я так тебя ждала, так ждала… Постой, я тебе помогу снести сундук-то твой… Ты не взыщи, мы ведь не так живем, как Постниковы, у нас много беднее, теснее ихнего будет, ну, да ведь знаешь пословицу: в тесноте, да не в обиде, а у нас тебе обиды ни от кого не будет. Иван Прохорович мой курицы не обидит, не то что человека; работники у нас – парни славные, тихие; а я уж так тебе рада, так рада, что и сказать не могу!

С этим ласковым приветствием словоохотливая Федосья Яковлевна снесла сундук девушки в сени и ввела Анну в избу, которая, конечно, могла показаться и очень тесной, и очень бедной после парадных гостиных Постниковых. Небольшой деревянный домик Скороспеловых разделялся широкими сенями на две неравные части. В меньшей помещались работники Ивана Прохоровича и мешки с семенами, приготовляемыми им на продажу. Другая, большая, разделялась на две комнаты: просторную кухню, служившую и общей столовой, и прачечной, и спальней старших детей, и хозяйскую горницу, где спали Скороспеловы со своими младшими детьми, и где они в праздничные дни принимали своих редких и немногочисленных гостей. У Постниковых Анна горько плакала, когда ей пришлось спать не в отдельной комнате, а в кухне, здесь же она нашла уголок за печкой совершенно удобным для себя и очень обрадовалась широкой скамье, которую можно было употребить вместо кровати. Дело в том, что приветливая встреча Федосьи Яковлевны подкупила ее. В первый раз слышала она, что ее ждали с нетерпением, что её приезду радовались, в первый раз чувствовала она, что может быть полезна, – и это было необыкновенно приятное чувство. Ей захотелось доказать Федосье Яковлевне, что её ожидания были не напрасны, что она в самом деле может быть хорошей помощницей, и она с полным усердием принялась за дело. Через час ловко положенные заплаты украсили панталоны и рубашку Гриши, так что он мог отправиться на улицу и возобновить свои гимнастические упражнения; Сеня спокойно сидел под окном, ожидая, пока его костюм подвергнется той же операции. Ваня, за горсточку подсолнухов, согласился оставить мать в покое и усесться подле «няни», как он называл Анну. Вася по-прежнему кричал и буянил, но теперь Федосья Яковлевна могла спокойно качать и баю-

кать его: она знала, что с помощью своей молодой работницы успеет справить все дела. Анна обещала ей, как только кончит шитье, и печку растопить, и картофель начистить, и посуду перемыть. Одна работа сменяла другую; незаметно подкрались сумерки; Иван Прохорович приехал из города, пришли работники, надо было собирать ужин. Анна помогала Федосье Яковлевне подавать кушанья, кормить и усмирять детей, так что сама еле успевала поесть. После ужина и уборки посуды нашлось новое дело. Федосья Яковлевна пошла доить корову, а ей рассказала, как приготовить пойло для теленка. Только что она напоила теленка, как дети обступили ее, прося дать им парного молока. Надобно было оделить всех их и смотреть притом, чтобы старшие не обидели младших; Федосья Яковлевна послала разыскивать курицу, которая почему-то не заблагорассудила идти на насест вместе со своими подругами; потом она должна была носить и качать Васю, пока Федосья Яковлевна смотрела, хорошо ли работник накормил и убрал лошадь, заперты ли ворота, спущен ли с цепи Волчок, потом оказалось, что Ваня заснул под столом, надо было раздеть и уложить его. Когда, наконец, все в доме улеглись и даже неугомонный Вася затих, Анна протянулась на своей постели и с удивлением заметила, что руки и плечи её болят, а глаза слипаются.

«Что это со мной? Неужели это от работы?» – мысленно спрашивала она себя, но не успела ответить на этот вопрос: ее охватил здоровый, крепкий сон рабочего человека.

Жизнь в доме Скороспеловых шла однообразно, дни различались для Федосьи Яковлевны только по тем работам, какие она должна была делать: в понедельник у неё была стирка белья, во вторник и пятницу печение хлеба, в воскресенье пироги, в субботу мытье полов и обмыванье детей в бане. И Анне пришлось вести такую же, непривычную для неё трудовую жизнь. Определенных обязанностей у неё не было: она должна была только помогать хозяйке; но эта хлопотливая хозяйка, привыкшая с ранних лет работать и работать без отдыха и перерыва, всегда, каждую минуту находила новое дело и для себя, и для неё. Все эти дела были так необходимы, так неотложны, что отказаться от них не представлялось никакой возможности. Анна, вяло и неохотно работавшая в приюте, привыкшая к полному безделью у Постниковых, сильно уставала первое время. Руки болели, спина ныла, ноги подкашивались. Яркое осеннее солнышко манило ее на улицу, но признаться в этом Федосье Яковлевне было невозможно: Федосья Яковлевна, сама не знавшая ни слабости, ни усталости, ни желанья погулять, посидеть сложа руки, не признавала ничего подобного и в других. «Устать от качанья ребенка, от уборки комнат, от чистки посуды, – какие выдумки!» Анна слышала, с каким презрением она отзывается о барынях, приезжавших иногда покупать зелень на огороде: – им все трудно, от всего ручки, ножки болят, точно и не люди, право; слышала, как она бранит соседок, сходившихся у колодца и за болтовней забывавших, что дома нужна вода, или девушек, прогуливавшихся в будни по улицам, – и ей стыдно было признаться, что ее саму тянет иногда и поболтать, и погулять с другими. Еще если бы Федосья Яковлевна обращалась с ней повелительно, кричала на нее, строго приказывала ей, тогда наверно в ней проснулось бы прежнее желание не поддаться, постоять за себя. Но ничего подобного не было: Федосья Яковлевна никогда не приказывала, она всегда самым ласковым, дружественным голосом поручала девушке ту или другую работу, которая была так очевидно необходима, что стыдно было отказаться от неё. Если Анна чего-нибудь не исполняла или исполняла дурно, небрежно, хозяйка никогда не бранила, не упрекала ее: она только укоризненно качала головой и сострадательным голосом замечала:

– Что, сердешная, не умеешь? Эх, руки-то у тебя еще непривычные, плохо двигаются. Ну, да не беда, привыкнешь! Давай, я кончу, а ты поскорей…

Анне давалось новое поручение, а хозяйка ловко и проворно доделывала её работу.

Дети очень скоро подметили слабую сторону молодой работницы, нашли средство добиваться от неё всего, чего хотели. Если они сердились, кричали, требовали чего-нибудь с бранью, Анна без церемонии отгоняла их от себя; но когда они подходили к ней с лас-

ково-умильными рожицами, когда они нежно говорили: «моя няня», «миленькая моя», она не могла устоять. И вот, грязные детские ручонки беспрестанно лезли обнимать ее, и она, всегда так жаждавшая ласки, любви, забывала ради этой детской ласки и свою усталость, и свое желание погулять, отдохнуть.

– Избалуешь ты мне ребят! – замечала иногда Федосья Яковлевна, видя как девушка, между двух спешных работ, то вьет кнут для Сени, то шьет куклу для Дуни, то таскает на спине громко хохочущего Ваню. – Как есть избалуешь! Дай ты им хороший щелчок, чтобы они к тебе не лезли…

Но, говоря эти суровые слова, мать с любовью посматривала на своих птенцов, и ей приятно было, что молодая девушка так ласкова и добра к ним.

– Экий клад послал нам Бог! – толковала Федосья Яковлевна с мужем. – Такая славная эта Аннушка, и честная, и работящая, и детей любит! Ужо пойду к Аленушке, поблагодарю, что предоставила нам ее…

Алена повторяла Анне все похвалы, какие о ней слышала, и Анна краснела от удовольствия.

– Видишь, – прибавляла Алена, – правду я говорила: будешь ты работать, как следует, никому не стать тебя обижать, потому, известно, ты не из милости живешь, ты человек нужный.

Приятно было Анне чувствовать, что наконец она перестала быть лишней, что она «нужна», и она все больше и больше старалась угождать своим хозяевам.

Глава X

Почти два года прожила Анна у Скороспеловых. Из девочки-подростка она превратилась в совершенно взрослую девушку, – высокую, стройную, с сильными руками и загрубелым лицом. Если бы кто-нибудь спросил у неё: счастлива ли она, довольна ли своей судьбой, она сморщила бы свои темные брови и сурово ответила бы: «Чего там недовольна? Живу, как все!»

Сама себе она никогда не задавала подобных вопросов: ей было некогда. Переделав все бесчисленные работы Федосьи Яковлевны да повозившись, кроме того, с пятью детьми, ей хотелось спать и спать, а не раздумывать да грустить.

– Что ты, Аннушка, так привязалась к огороднице, – говорили ей иногда соседи и даже Алена. – Ты, ведь, почитай, задаром у неё живешь! Ты теперь работница, как надо быть, могла бы место получше найти, с хорошим жалованьем…

Анне подобные советы казались нелепыми. Ей уйти от Федосьи Яковлевны, которая всегда так добра к ней, от милых деток, которые так крепко целуют ее? Да разве это возможно?.. Если ей случалось отлучаться куда-нибудь из дому на час, на два, то при возвращении Федосья Яковлевна всегда встречала ее восклицанием:

– Ну, слава Богу, что ты пришла, Аннушка! А я без тебя, как без рук.

Дети бросались к ней с криками:

– Няня, милая, иди скорей! Мы все тебя ждали!

Когда, в праздничный день, она просилась у хозяйки в церковь или в гости, Федосья Яковлевна не удерживала ее, но обыкновенно тяжело вздыхала, говоря:

– Что же! Известное дело: молодой человек, повеселиться хочется, людей посмотреть, себя показать!.. Всем праздник, только мне праздника нет! Ты уйдешь, а мне двойная работа!.. Ну, да иди себе, я тебя не держу, чего тебе для меня сидеть: ведь не мать я тебе в самом деле!

– Няня, не уходи! – кричали дети, цепляясь за нее, и Анна оставалась, забывала о праздничном отдыхе, готова была и работать, и услуживать за то, что ее так любят, так ею дорожат…

Аксинья Ивановна никогда не могла простить Анне, что та решилась уйти от неё, что предпочла место работницы сытной жизни в их доме; но когда Анна стала все реже и реже навещать ее, она окончательно признала свою бывшую воспитанницу бесчувственной и неблагодарной.

– Неужели тебя хозяйка и в Светлый праздник со двора не отпускает? – с неудовольствием спрашивала она.

– Нет, хозяйка ничего, – несколько смущенно отвечала Анна, – а только я сама вижу, что работы много: мне и не охота уходить…

– Не охота? – сердилась Аксинья Ивановна. – Кабы ты помнила нашу хлеб-соль, не говорила бы «не охота»!

– Ах, тетенька, – непременно вмешивался в разговор Алеша, – да что же Анюте до нас? Точно мы ей свои, близкие. Пока мала была, нуждалась в вас – ну, и жила у вас, ласкалась к вам, а теперь вы ей не нужны, так чего же ей к нам ходить?

Аксинья Ивановна вздыхала, а Анна должна была делать большие усилия над собой, чтобы, по старой памяти, не прибить и не вытолкать за дверь дрянного мальчишку.

Кончилось тем, что, избегая неприятных объяснений и колких намеков, она совсем перестала ходить к Постниковым, и Аксинья Ивановна еще раз убедилась, что «Алешенька всегда правду говорит, он всякого человека хорошо понимает».

Кроме Постниковых, Анне не к кому было ходить. Прежние подруги, знавшие ее как воспитанницу богатого купца, теперь не кланялись ей и никогда не подумали бы пригласить к себе в гости эту простую работницу в полинялом, заплатанном ситцевом платье. Новых знакомств ей было некогда заводить, а к Скороспеловым почти никто не ходил в гости; разве иногда соседка забежит к Федосье Яковлевне, попросить сковороду или утюг, да заболтается и согласится выпить чашку-другую чаю.

Да и не надо было Анне гостей, не надо знакомых. Дома все добрые, все любят ее; зачем же ей чужие? А еще соседи говорят, чтобы она искала другого места, где дадут побольше жалованья. Какая глупость! На что ей жалованье? Наряжаться? Накупать себе красивых платьев? Но ведь она знала, что она нехороша собой. «Нарядишься, так, пожалуй, еще больше будешь похожа на воронье пугало», – думала она, оглядывая себя в маленькое зеркальце, висевшее над комодом Федосьи Яковлевны. У Постниковых она носила и хорошие платья, и шелковые платочки, да разве она жила счастливо? Нет, вовсе не того ей нужно. Она нисколько не завидовала ни тем богатым барыням, которые в собственных экипажах приезжали на огород к Ивану Прохоровичу, ни тем девушкам, которых она встречала в церкви и на улице; не завидовала и Алеше, который все больше и больше пользовался милостями дяди и тетки, ходил настоящим франтом – в сюртуке, пестром галстуке, с часами на толстой вызолоченной цепочке. На все это она смотрела совершенно равнодушно. Но сердце её болезненно сжималось, когда она видела, как грубая мозолистая рука Федосьи Яковлевны нежно ласкала белобрысые головки её маленьких буянов; она не могла удержаться от слез, когда Иван Прохорович, всегда такой кроткий и тихий, чуть не прибил соседку за то, что она смела обидеть его Дуню. Ребенком она злилась на тех, кого любили и ласкали больше, чем ее, – теперь она не чувствовала злобы ни против кого; ей было только до боли жалко саму себя, и, чтобы заглушить это тяжелое чувство, она хваталась за первую попавшуюся работу, и работала, и работала, пока усталость не начинала одолевать ее, и сон не слепил ей глаза.

Настала весна, – вторая весна, которую молодая девушка проводила в доме Скороспеловых; теперь ей можно было немного отдохнуть: Сеня и Гриша почти все время проводили на улице, домой забегали только есть да спать, Дуня не хотела отставать от братьев, а за ней неизменно тянулся и Ваня. В избе оставался только Вася, который уже хорошо ходил и бегал, так что его не нужно было носить на руках, да пятилетняя Маша – тихая, разумная девочка, всегда охотно забавлявшая братишку.

– Ишь, как без ребят-то дело спорится, – замечала Федосья Яковлевна. – Смотри-ка, Аннушка, солнце еще высоко, а мы, почитай, всю работу переделали! Теперь, пока корова с поля не придет, мы хоть сложа руки сиди, точно барыни какие.

Сама Федосья Яковлевна сидеть сложа руки не умела: у неё всегда находилась какая-нибудь починка старого белья, перешивка старого платья, за которую она и принималась так, от нечего делать; но Анна рада была отдохнуть час другой. Непрерывная, утомительная зимняя работа вредно подействовала на здоровье молодой девушки: она часто чувствовала слабость, головокружение, какую-то боль в груди. Ей было очень приятно пройтись по тропинке, которая от огорода Ивана Прохоровича вела прямо к полю и к лугам соседней деревни, приятно полежать на мягкой траве, под яркими лучами весеннего солнца.

Один раз она только что вышла на тропинку, как навстречу ей попался Иван Прохорович. Он шагал быстро, опустив голову, чем-то озабоченный и почти натолкнулся на девушку.

– Куда это ты, Аннушка? – как-то машинально спросил он.

– Гулять! – отвечала она, с удивлением посматривая на его встревоженное лицо.

– Ишь ты, гулять! Тут из кожи вон лезешь, а она гулять! – проворчал Иван Прохорович и зашагал дальше.

– Чего это вы? Что случилось? – спрашивала Анна, догоняя его.

– Ничего не случилось! – мрачно отвечал Иван Прохорович. – Я сам глупость сделал, сам теперь и плачусь. В прошлом году держал трех работников, показалось много, дорого, дай, думаю, нынче с двумя обойдусь. Оно, пожалуй бы, ничего, да, как на грех, Максим заболел, вчера ушел в больницу. Что я с одним Степаном буду делать? Он, вишь, какой увалень, а пора теперь горячая, надо скорей гряды кончать, рассаду пересаживать…

– А разве нельзя нанять кого-нибудь вместо Максима? – спросила Анна, живо сочувствуя горю своего хозяина.

– Нанять! Где их наймешь? Зимой задаром, из-за одного хлеба идут, а теперь – куда тут! Я уж утром и на базаре спрашивал, теперь, вон, в деревню ходил, – нет, никто не идет. Беда да и только!

– Экое, в самом деле, горе какое! – с соболезнованием отозвалась Анна.

– Тебе что за горе! – несколько досадливо проговорил Иван Прохорович, – вон, ты гуляешь себе, как ни в чем не бывало.

– Я ведь не знала, что у вас много работы, я бы вам помогла, – отозвалась Анна.

Иван Прохорович остановился и смерил девушку пристальным взглядом, точно в первый раз видел ее. Лицо его просияло.

– А что, и вправду! – вскричал он. – Ты ведь уж не маленькая, можешь и в огороде работать. Дома-то хозяйка одна справится, а я тебе за эти месяцы жалованья прибавлю да и платье новое подарю. Ну, что, согласна?

Иван Прохорович так оживился, с таким беспокойством ждал ответа девушки, что у неё не хватило духу отказать ему.

– Я попробую, может, еще и не смогу, – нерешительно отвечала она: ей было страшновато приниматься за новую тяжелую работу, но она отчасти надеялась, что Федосья Яковлевна не отпустит ее. Однако, надежда эта не оправдалась. Федосья Яковлевна нашла, что так и должно быть.

– Известное дело, я справлюсь одна дома, – заявила она, – а ты, Аннушка, помоги хозяину. Человек ты молодой, тебе нечего труда бояться, а ужо к ужину я тебе твоих любимых блинков напеку. Ведь ты у нас живешь не как работница, а как будто бы своя, так надо же тебе помочь нам в нужде…

Федосья Яковлевна говорила эти слова совершенно простодушно и была вполне уверена, что говорит полнейшую правду, а между тем самая хитрая женщина не могла бы придумать лучшей уловки, чтобы заставить Анну делать все, что угодно. Она не простая наемная работница, ее просят помочь, как свою, как семьянинку, и, конечно, она поможет, и никакой труд не покажется ей тяжелым, никакая работа утомительной…

С бодрым духом взялась Анна за тяжелый заступ, безропотно таскала она одну пару ведер за другой для поливки гряд. Когда настало время ужина, она опустилась на лавку бледная, усталая, и вкусный ужин не привлекал ее.

Федосья Яковлевна заволновалась.

– Что же это ты, Аннушка, а блинков-то? Поешь, родимая, ведь я для тебя пекла! Заморилась?.. Ничего, это с непривычки! Поешь, так тебе легче будет!

Нельзя было противостоять такому радушному угощению. Анна поела и, в самом деле, несколько подкрепилась. Федосья Яковлевна и Иван Прохорович так ласково говорили с ней, так ухаживали за ней, что, несмотря на сильную усталость, она чувствовала себя хорошо и не думала отказываться от тяжелого труда.

На другой, на третий день – то же самое: утомительная работа, а за обедом и за ужином ласковые, ободряющие разговоры, похвалы, выражения благодарности, заставлявшие забывать неприятности длинного летнего дня. Мало-помалу Анна привыкла к своей новой работе. Плечи её не ныли больше от коромысла, заступ не казался ей таким тяжелым, как в первый день, только худела она все больше и больше; густой загар не мог вполне скрыть

бледность её щек, по воскресеньям она не смеялась, не играла с детьми, как прежде, даже гулять не ходила, а сидела у ворот одна, – тихая и задумчивая.

Но вот все трудные огородные работы кончились, осталась только поливка гряд, которую нельзя было прекращать, так как погода стояла очень жаркая. После одного особенно знойного дня Анна только что налила большую лейку воды, как вдруг почувствовала сильный озноб и какую-то странную слабость во всех членах. Она хотела пересилить себя, но не в состоянии была приподнять лейку.

«Посижу немного, может, пройдет» – подумала она и опустилась на землю тут же подле кадки с водой.

– Аннушка! Что с тобой? Ты больна? – встревоженным голосом закричал Иван Прохорович, минут пять спустя, видя, как страшно побледнела девушка, как бессильно прислоняется голова её к стенке кадки.

– Да, что-то нездоровится, – упавшим голосом отвечала Анна. – Ничего, пройдет! Я сейчас буду поливать…

– Какое там поливать? На тебе лица нет! Иди домой, ляг в постель; может, отлежишься…

Анна с трудом приподнялась, с трудом доплелась до своей постели и скорей упала, чем легла на нее. К ужину она не встала, отказалась от всякой пищи и только все просила холодного квасу. Федосья Яковлевна уверяла, что это простуда, заставила ее выпить большую чашку горячего настоя из липового цвета, укрыла ее полушубком и уговаривала хорошенько пропотеть.

– Я ведь эту болезнь знаю, – говорила она, – со мной сколько раз то же случалось, пропотеешь хорошенько, завтра встанешь, как встрепанная.

Анна покорно глотала горячий настой, покорно задыхалась под тяжелым полушубком, но предсказание Федосьи Яковлевны не исполнилось: она не пропотела и на следующее утро совсем не могла встать. Все тело её горело, как в огне, она беспрестанно впадала в забытье, а когда приходила в себя, чувствовала слабость и сильную боль в голове.

– Эка беда какая стряслась! – говорил Иван Прохорович, с состраданием поглядывая на молодую работницу. – А, как на зло, завтра базарный день, надо бы набрать стручков да огурцов. Мне самому некогда, а один Максимка немного наберет…

– Я бы тебе помогла, да у меня сегодня стирка, – отозвалась Федосья Яковлевна. – Ужо, если ей к вечеру лучше не будет, схожу к куме Никаноровне: у неё есть лекарства от разных болезней: может, не даст ли чего…

Кума Никаноровна, действительно, дала какую-то настойку, которую следовало пить при закате и на восходе солнца, три дня сряду, «и всякую болезнь – как рукой снимет»; Первый день Анна выпила положенную порцию, второй – она не поднимала головы с подушки и Федосья Яковлевна должна была вливать ей лекарство в рот, на третий день она никого не узнавала, металась по постели и громко бредила.

– А, ведь, Аннушку нельзя так оставить: – заметил за обедом Иван Прохорович. – Надо бы доктора позвать.

– Что доктора! – с озабоченным видом проговорила Федосья Яковлевна. – Доктор лекарство пропишет, надо покупать, а лекарства все дороги… Опять же, что она у нас лежать будет: за больной уход нужен, а разве мне есть время за ней ухаживать?.. Я думаю, всего лучше свезти ее в больницу: там и лечить ее будут даром, и смотреть за ней.

– Жалко как-то девушку, – сказал Иван Прохорович. – Работала, работала она на нас, а как чуть заболела, ты ее сейчас и из дому прочь…

– Работала! – вскричала Федосья Яковлевна. – Что ж, она ведь не даром работала. За наши деньги мы всегда себе работниц найдем. Правда, она девушка хорошая, мне ее жаль,

да что поделаешь. Может, у неё болезнь заразительная, к детям как бы не пристала, я вот чего боюсь…

Иван Прохорович не возражал. Конечно, если какая-нибудь опасность грозила своим детям, то нечего церемониться с чужой девушкой, простой работницей… После обеда работнику приказано было запрячь лошадь и положить в телегу побольше сена.

Анна не в состоянии была сама идти. Ее пришлось нести на руках. Почувствовав, что ее поднимают, несут, она в полубреду вообразила себе, что ее считают уже мертвой и хотят хоронить.

– Не надо! Оставьте! – кричала она жалобным голосом. – Я жива! Я не хочу!

– Полно, Аннушка! тебе там лучше будет! – успокаивала ее Федосья Яковлевна.

– Не хочу! не хочу! Пустите! Оставьте! – кричала Анна. Иван Прохорович, с помощью работника, бережно уложил ее в телегу и сам сел подле неё, так как она не переставала метаться. Телега выехала на большую улицу и покатила по тряской мостовой, заглушая шумом колес жалобные стоны больной.

Глава XI

Анна смутно сознавала, что с ней происходит: действительность мешалась у неё с горячечным бредом, так что она не в состоянии была отделить одно от другого; она не знала, наяву или во сне какое-то мохнатое чудовище тащит ее в лес, какие-то незнакомые женщины сажают ее в ванну с водой. Когда она очнулась через несколько дней, она увидела, что лежит в очень большой комнате, заставленной кроватями. Серые стены, тусклые стекла, однообразные ряды кроватей под серыми байковыми одеялами – это было что-то близкое, давно знакомое. Последние годы жизни как-то вдруг исчезли из памяти девушки, ей казалось, что она еще в приюте, что около неё опять товарки-девочки. Она старалась всмотреться в лежавших на кроватях, чтобы различить знакомых; но нет! Вместо молодых детских лиц – морщинистые, исхудалые, седые головы, – одни беспокойно мечутся, другие стонут и охают, третьи лежат неподвижно, вытянув все члены, точно мертвые… А между кроватей ходит какая-то совсем незнакомая женщина, она наклоняется к некоторым из лежащих, что-то им говорит… Анна с каким-то суеверным ужасом следила за всеми движениями незнакомки. «Смерть!» – почему-то мелькнуло в её ослабевшем от болезни мозгу. Но вот женщина подошла ближе, к кровати, стоявшей почти рядом с кроватью Анны. Она сказала несколько слов ласковым голосом, обернулась к близ стоявшему столику, взяла склянку с лекарством и влила ложку в рот стонавшей женщины. Весь ужас Анны вмиг исчез. «Больница!» – поняла она и совершенно успокоилась. Глаза её закрылись, и она снова заснула, но на этот раз крепким, живительным сном.

Целые сутки проспала она таким образом, и когда проснулась, память и понимание вполне вернулись к ней. Она живо представляла себе, как ей трудно было работать последние дни перед болезнью, как Иван Прохорович и Федосья Яковлевна хотя ласково, но постоянно понукали ее, и не могла понять, отчего ей хочется отдыхать, когда рабочий день еще далеко не кончился… «Они не знали, что это болезнь у меня начинается, – думала девушка. – Чай, теперь вспоминают меня, скучают обо мне»…

Сиделка рассказала ей, что, пока она была в беспамятстве, приходила какая-то женщина, побоялась войти в палату, где было много тифозных больных, расспрашивала про нее у сестры милосердия и оставила ей немного чаю и сахару на случай, если она оживет.

«Это наверное Федосья Яковлевна, – подумала Анна, – она и опять придет, тогда уже я попрошу, чтобы ее привели ко мне: она расскажет мне, что у нас дома делается».

Выздоровление Анны шло медленно. Беспрестанно являлись у неё новые болезненные припадки, так что она, несколько раз с нетерпением говорила доктору:

– Верно я умру. Скажите правду: я, должно быть, никогда не буду здорова.

Когда, наконец, болезнь совершенно оставила ее, явилась слабость, – такая слабость, что она лежала иногда целые часы, не имея сил ни открыть глаз, ни пошевелить рукой.

– Если бы можно было отправить ее в деревню, на свежем воздухе она скорешенько бы поправилась, а здесь она долго прохворает, – сказал о ней один из докторов при осмотре больных.

Анна слышала эти слова.

В деревню, – туда, на луг, где такие красивенькие колокольчики, в поле, где так славно колышется желтая рожь. Да, там хорошо, там она наверно скоро выздоровела бы. Там гораздо лучше, чем здесь: здесь, как отворят форточку, так слышен такой стук от езды экипажей, что голова болит, да вдруг влетит пыль с улицы или какой-нибудь гадкий запах. А в деревне тихо, и цветы и деревья так хорошо пахнут… Вот бы и вправду туда… В настоящую деревню ей не попасть, у неё там нет знакомых, никто не возьмет ее туда, но хоть бы вернуться к Ивану Прохоровичу: ведь у него на огороде почти все равно, как в деревне; она

лежала бы на траве возле домика сторожа, оттуда видны и поля, и луга, и трава там такая густая, душистая…

Анне вдруг неудержимо захотелось вернуться в маленький домик Скороспеловых, увидеть спокойную, неповоротливую фигуру Ивана Прохоровича, ласковую, приветливую улыбку Федосьи Яковлевны, смеющиеся личики детей.

«Я там выздоровлю, очень скоро выздоровлю, – говорила она себе, – и буду опять работать, хорошо работать, не уставая…»

Ей вспомнилось, как заботилась Федосья Яковлевна: поила ее липовым цветом и укрыла полушубком в первый день болезни.

«Она добрая, хорошая, – думала девушка, – она меня любит, она наверно возьмет меня к себе, домой; только бы она пришла поскорей!»

Сто раз в день повторяла она всем – и сестрам милосердия, и сиделкам, и даже докторам – один и тот же вопрос: «Не приходил ли кто-нибудь ко мне? Не спрашивали ли меня?» И постоянно получала один и тот же ответ: «Кажется, никто. Если кто придет, вам скажут».

Наконец, одна из сестер милосердия, видя, как сильно волнуется девушка, предложила, что напишет под её диктовку письмо и пошлет, куда она укажет. Анна обрадовалась до того, что поцеловала руку этой сестры милосердия.

«Дорогая моя Федосья Яковлевна! – продиктовала она. Я теперь, слава Богу, почти что совсем выздоровела, только осталась слабость, да очень скучаю, что вы не придете ко мне. А доктор говорит, что кабы мне пожить в деревне, я бы скоро поправилась, и мне бы хотелось выйти из больницы, а у вас на огороде все то же, что в деревне. Возьмите меня к себе, голубушка Федосья Яковлевна, я вам буду благодарна по гроб жизни и почитать вас буду, как мать родную. Придите ко мне поскорей, очень я о вас соскучилась и очень мне хочется к вам. Прощайте, пожалуйста, приходите поскорее!»

После отправки этого письма Анна с нетерпением стала ждать ответа. Она волновалась до того, что к ночи с ней сделался лихорадочный припадок, и после него она целых два дня чувствовала себя дурно. А Федосья Яковлевна все не приходила и не давала о себе вестей. Наконец, в воскресенье, через неделю после отправки письма, когда молодая девушка с завистью посматривала на те кровати, возле которых сидели посетители, к ней подошла сестра милосердия и ласково сказала ей:

– Ну, радуйтесь, к вам пришла какая-то женщина, должно быть та, которую вы так ждали. Прибодритесь немножко, а то она испугается, как увидит вас…

Федосью Яковлевну трудно было испугать. Она вошла в палату своей обычной быстрой, решительной походкой и весьма мало понизила свой громкий звучный голос.

– Ну, здравствуй, Аннушка! – заговорила она, подходя к кровати молодой девушки. – Что, полегчало тебе?.. А я ведь была у тебя здесь, да мне сказали, что ты в беспамятстве, очень плоха, я так и думала, что ты не поправишься… Ишь ведь как тебя перевернуло, узнать нельзя!

Действительно, эта девушка с впалыми щеками, с ввалившимися глазами, коротко остриженными волосами и длинными белыми костлявыми руками мало походила на ту крепкую здоровую Анну, которая так охотно бралась помогать Федосье Яковлевне во всех её работах.

Первые минуты Анна, от волнения, не могла говорить. Оправившись немного, она сказала слабым голосом:

– Я теперь почти совсем здорова, доктор говорит, что в деревне я скоро поправлюсь. Вы возьмете меня к себе?

– Куда тебе к нам! Ты, вон, еще насилу говоришь! – отозвалась Федосья Яковлевна. – Мы уж заместо тебя взяли работницу, старуху: из-за теплого угла да из-за хлеба пошла, без жалованья. Известно, она немного может делать, ну, да все же и за ребятами посмотрит, и

корову напоит, и в стряпне мне поможет: теперь, как Васенька подрост, так я, слава Богу, могу работать. А нам расчет. Тебе мы хоть немного платили, а все же в нашем хозяйстве и два-три рубля в месяц много значат.

– Я бы также у вас стала без денег жить, – жалобно проговорила Анна, – только возьмите меня отсюда.

Федосья Яковлевна засмеялась.

– Ишь ты, ловкая! Известно, пока больна кто же тебе будет платить деньги? Еще с тебя надо брать за харчи! А коли, даст Бог, выздоровеешь, так, небось, захочешь не хуже людей жить. Ты к нам поступала еще девчонкой, а теперь ты не маленькая, ты можешь на хорошем месте жить, с хорошим жалованьем…

– Не надо мне другого места, не надо мне хорошего жалованья! Вы добрая, я вас люблю, и Васю, и Ваню, и всех детей люблю, я хочу у вас жить, с вами!

От болезни нервы девушки ослабели. Она прижалась головой к руке Федосьи Яковлевны и расплакалась. Федосья Яковлевна перепугалась.

– Полно, Аннушка, полно, милая, – суетилась она, – чего это ты плачешь? Как можно? Пожалуй, опять хуже сделается. Смотри, как у вас здесь хорошо, – чисто, просторно, чего тебе тут не лежать? А поправишься совсем, приходи к нам в гости, мы завсегда тебе рады будем.

– А теперь, больную, не возьмете? – прерывающимся от слез голосом спросила девушка.

– Эх, ты, болезная! Да куда мне взять тебя! Сама знаешь, как мы живем. В тесноте, в труде… У нас больному человеку ни покою, ни уходу никакого быть не может. Опять же, больному лекарства нужны, пища особливая, а разве мы это можем предоставить? Из каких таких достатков? Ты знаешь, какая у нас семья. Сами еле-еле перебиваемся.

Анна не настаивала больше. Она вытерла слезы и лежала тихо, молча, покорно выслушивая рассказы Федосьи Яковлевны о разных домашних новостях, – о том, как белая курица пропадала три дня, да, слава Богу, нашлась у соседей в сарае, как Ванечка порезал себе ножом палец, а Сенечка подрался с сыном лавочника и тому подобное…

Федосья Яковлевна просидела с час, на прощанье оставила Анне немножко чаю да сахару и обещала опять побывать у неё.

Анна простилась с ней без особенной нежности, но очень-очень грустно. Долго после этого пролежала она молча, отвернувшись к стене, чтобы никто не видал слез, которые неудержимо капали на её подушку.

Она работала, насколько хватало сил, во всем угождала своим хозяевам, и они, правда, не обижали ее, напротив, хвалили, ласкали, дорожили ею, но все это, пока она могла работать. А чуть силы изменили ей, чуть пришла болезнь – и она им уж не нужна, они жалеют для неё угла, куска хлеба. Значит, они ее нисколько не любят, она и им такая же чужая, как была Нине Ивановне, Постниковым и всем, всем на свете. Она выздоровеет, выйдет из больницы и будет одна, опять совсем одна, как в ту ночь, когда она плакала у ворот Постниковых. К кому она пойдет? Никто ей не обрадуется. У Аксиньи Ивановны есть племянник, которого она на нее не променяет, Федосья Яковлевна взяла вместо неё какую-то старуху и совершенно довольна. Зачем же ей выздоравливать? Зачем жить? Не надо выходить из больницы: здесь и сестры, и сиделки такие добрые, лучше здесь и умереть, поскорее умереть…

Благодаря лекарствам и укрепляющей пище, которую Анну заставляли насильно проглатывать, слабость её понемногу проходила, но и доктора, и сиделки удивлялись постоянному унынию такой молодой девушки. Обыкновенно, выздоравливающие после тяжкой болезни чувствуют себя как-то особенно радостно: лишний кусочек пищи, разрешенный доктором, позволение не лежать, а сидеть в постели, возможность пройти несколько шагов – все это доставляет им величайшее удовольствие. Они забывают прежние неприятности, им

представляется, что жизнь должна непременно пойти хорошо после того, как они так близко видели смерть и так счастливо избавились от неё. Ничего подобного не замечалось в Анне. Напрасно добродушный доктор ободрял ее надеждой на скорое выздоровление, напрасно и сиделки и выздоравливающие больные развлекали ее разговорами, – тусклые глаза её смотрели все так же грустно, бледные губы как будто совсем разучились улыбаться…

Один раз, после обеда, Анна только что заснула после бессонной ночи и целого утра самых тяжелых мыслей, как ее разбудил шум в комнате и плач ребенка.

– Что это такое? – спросила она, приподнимаясь.

– Да вот, – объяснила ей сестра милосердия, – сейчас из Сиротского дома принесли девочку. В детском-то отделении скарлатина и коклюш, так доктор велел пока положить ее здесь, благо у нас нет опасных больных.

Ребенок кричал и плакал, ему давали лекарства, утешали его; но Анна не обращала на это внимания, только досадовала немножко, что ее разбудили.

Ночью она проснулась и опять услышала голос ребенка, но теперь это был не крик, а жалобный стон, прерываемый словами: «Мама, мамочка, приди ко мне! Моя сладенькая мамочка, приди! Где ты? Дай мне ручку, мамочка, дай!» Анна оглянулась. Сиделка, провозившаяся весь день с малюткой и половину ночи с какой-то нетерпеливой больной, задремала в другом углу комнаты и не слышала бедной малютки, которая продолжала стонать и звать свою «мамочку». Анна не могла равнодушно слышать эти стоны. Она настолько окрепла, что уже могла ходить. Всунув ноги в туфли, она тихонько подошла к маленькой больной. Это была девочка лет четырех-пяти; она лежала, разметавшись по постели, на щеках её горел лихорадочный румянец, глаза были закрыты, из запекшихся губок вылетало короткое, прерывистое дыхание.

– Больно мне, мамочка! Больно! – жаловалась она. – Дай мне ручку! Ох, как больно…

Анна тихонько подложила свою руку под пылавшую щечку малютки, и девочка прильнула губами к этой руке, принимая ее за руку матери. Живя у Скороспеловых, Анна научилась обращаться с детьми; теперь она вспомнила все ласки, нежные слова, какими Федосья Яковлевна успокаивала своих птенцов во время их болезней, и попробовала утешить ими больную. Девочка не открывала глаз и в полубреду продолжала принимать Анну за мать.

– Я рада, что ты пришла, мамочка, – говорила она. – Не уходи от меня, не ложись в большой ящик, я боюсь без тебя. Погладь меня еще, мне не больно, когда ты тут…

Анна гладила, ласкала и успокаивала ребенка, пока бедная малютка не затихла и не уснула; но и тогда она не решалась вытянуть свою руку из-под её головки и отойти прочь.

– Боже мой, что вы делаете? – вскричала проснувшаяся сиделка, ужасаясь тому, что она могла так нарушить все больничные правила. – Сама еще не вполне выздоровевшая, ночью встала с постели и уселась на кровати другой больной.

Чтобы успокоить ее, Анна должна была лечь. Но она больше не засыпала: малютка часто стонала во сне и каждый её стон болезненно отзывался в сердце молодой девушки. Ее удивляло, с какой стати ребенок, принесенный из Сиротского дома, беспрестанно вспоминает и зовет к себе мать.

– Да у неё, говорят, только что умерла мать – объяснила сестра милосердия. – Какая-то соседка прямо с похорон принесла ее в Сиротский дом; у неё нет отца и никого родных. В Сиротском доме увидели, что она больна и прислали ее сюда; когда она выздоровеет, мы ее опять туда отправим.

«Бедная девочка! – думалось Анне. – Ей, пожалуй, будет в Сиротском доме еще тяжелее, чем было мне. Я ведь совсем не знала матери, да и то как скучала, а она помнит свою мать, ждет её ласки, и вместо того…»

Серые, неприветливые стены приюта, холодные, угрюмые лица надзирательниц, брань, побои – все это ясно представилось воображению Анны, и сердце её сжалось от жалости к бедной крошке, продолжавшей в бреду разговаривать со своей «сладенькой мамочкой».

– Положите ее поближе ко мне, – попросила она сестру милосердия, – я ведь теперь совсем здорова, мне хочется понянчиться с ней.

– Пожалуй, – согласилась сестра, – только что же вам за охота? Ведь у нее воспаление легких, доктор сказал, навряд ли выживет.

«Ну, что ж, – подумала Анна, – пусть себе. Она думает, что я её мать: пусть она так и умрет, не узнав, как горько быть сиротой».

Девочку положили на свободную постель, рядом с ней; сиделки с удовольствием передали весь уход за ней Анне. Двое суток металась бедная девочка в сильнейшем жару; она почти не приходила в себя, а когда сознание возвращалось к ней, громко стонала, жаловалась и звала мать. Ласки Анны немножко успокаивала ее; в полузабытьи она продолжала принимать молодую девушку за мать и называла ее самыми нежными именами. На третью ночь ей сделалось совсем худо; она перестала бредить и метаться, лежала тихо, изредка жалобно стонала, жаркое дыханье с видимым усилием вылетало из её запекшихся губок. Анна, несмотря на увещания сиделки, не легла спать, а осталась возле неё.

Вдруг она заметила, что дыханье ребенка слабеет, лихорадочный румянец исчез с лица её и сменился мертвенной бледностью; Анна дотронулась до её ручки – она была холодна. Анна испугалась.

– Посмотрите-ка, – позвала она сиделку, – девочка-то, кажется, умирает.

– Известное дело, умирает, – спокойно проговорила та. – Что ж? И слава Богу! Ангельская душенька…

Сердце Анны сжалось. Она знала, что болезнь ребенка опасна, что на выздоровление мало надежды, но все-таки не могла так равнодушно отнестись к смерти крошки.

Она наклонилась над девочкой, прижала её исхудалое от болезни тельце к груди своей и старалась дыханьем согреть ее похолодевшие ручки.

– Что это вы? – заворчала сиделка. – Разве так можно? Вы и скончаться ей не дадите спокойно… Оставьте ее, ложитесь спать.

Анна положила девочку, заботливо укрыла ее одеялом и продолжала сидеть над ней, не зная наверно, жива она или умерла. Дыханья её не было слышно; при тусклом свете лампы личико её казалось синеватым, и она не решалась больше трогать ее.

– Ну, что? Померла? – все тем же спокойным голосом спросила сиделка, подходя к маленькой больной через добрый час времени.

– Не знаю, – прошептала Анна.

Сиделка наклонилась.

– Какое померла? Оживет, надо быть! – проговорила она. – Разве не видите? Дышит ровно, жару нет. Вот уж, именно, кому что на роду написано. Вы ее теперь не троньте, не испугайте; пусть она спит!

Анна сама не понимала, что с ней делается. Что ей до этого чужого ребенка? А между тем сердце её радостно билось, она готова была и плакать, и смеяться, ей хотелось расцеловать невозмутимо спокойную сиделку, обнять девочку, заставить ее открыть глазки, заговорить, хотелось убедиться, что она в самом деле жива…

Сиделка заметила её волнение и опять разворчалась, угрожая позвать сестру и пожаловаться на Анну, если та не ляжет тотчас же в постель. Анна принуждена была лечь, и сиделка села возле малютки. Долго не спала Анна и все глядела на маленькую больную, но та продолжала лежать тихо и неподвижно, только дыхание её стало заметнее и лицо приняло менее мертвенный оттенок.

Сиделка была права: девочка ожила. Здоровая натура её справилась с болезнью, кризис миновал благополучно и, к удивлению всех, она стала быстро поправляться. Но тут явилась новая беда: когда она окончательно пришла в себя и могла сознательно оглядеться кругом, больничная обстановка перепугала ее. Она боялась и больших седых бакенбард доктора, и белого чепчика сестры милосердия, и морщинистого лица сиделки, и больных, и склянок с лекарством и всего, всего. Безутешно плакала она и все звала свою маму, свою милую мамочку… Одной Анне удалось успокоить ее. Она сказала, что пришла от её мамы, чтобы ласкать ее и ухаживать за ней, пока она нездорова.

– От мамочки? – переспросила девочка, доверчиво глядя на бледное молодое лицо, наклонявшееся над ней. – Ну, хорошо! Я поживу здесь с тобой, а потом мамочка придет и возьмет меня к себе…

С этих пор маленькая Лёля, – так звали девочку, – стала неразлучна с Анной: только от неё одной принимала она и лекарство, и пищу, только ей одной позволяла умывать себя, с ней одной вступала в разговоры, бессвязно рассказывая разные события своей недолгой жизни. Уход за ребенком не только не утомлял Анну, как сначала боялся доктор, а напротив, был ей очень полезен: это отвлекало ее от тяжелых мыслей о собственной судьбе, заставляло больше дорожить своими силами, своим здоровьем.

Через неделю Лёля оправилась настолько, что уже бегала между кроватями, и доктор решил дня через два отправить ее в Сиротский дом. Девочке об этом не говорили, чтобы не вызвать новых слез, но Анна знала, что ей предстоит скорая разлука с ребенком, к которому она успела привязаться.

– Видно, уж судьба моя – жить на свете одной, без любви! – с грустью думала молодая девушка. Вот, полюбила меня девочка, очень полюбила, даже мать свою реже стала вспоминать, а завтра ее увезут, и я, может быть, никогда в жизни не увижу ее…

Но еще больше собственного одиночества пугала ее судьба Лёли. Что станется с этой робкой, нежной, пугливой малюткой в Сиротском доме? Она там пропадет, совсем пропадет. Если бы хоть попросить кого-нибудь из тамошних, чтобы с ней получше обращались. Но кого же?.. А Нина Ивановна? – блеснуло светлым лучом в мыслях Анны. И вспомнилось ей то серое осеннее утро, когда она, упрямая, своевольная девочка, стояла с чулком в руках на коленях в углу класса, и вспомнилось ласковое слово, поцелуй Нины Ивановны, и живо представились все чувства, вызванные этим словом, этим поцелуем в её детском сердце…

– Да, она добрая, она пожалеет мою Лёлю, – решила девушка. – Она и меня пожалеет. Тогда я была мала, глупа, я хотела, чтобы она свою родную дочку променяла на меня; теперь я знаю, что этого нельзя… Пусть бы она только пришла, да хоть из жалости приласкала немножко нас, бедных сирот.

На следующий день Лёлю отправили в Сиротский дом, уверив, что там она найдет свою маму. Вместе с этим Анна послала письмо к Нине Ивановне, умоляя ее придти…

Не прошло и часа после отправки письма, как Нина Ивановна уже сидела у постели своей бывшей воспитанницы. Во время болезни Анна так похудела и побледнела, что опять стала напоминать бывшую худощавую, большеглазую приютскую девочку. Нина Ивановна мало изменилась за последние годы: только вокруг глаз её появились морщинки, которых прежде не было, да в темных волосах засеребрилась седина. Крепко расцеловалась она с бывшей беглянкой; она, конечно, и не подумала упрекать ее за детское своевольство, а напротив, с интересом стала расспрашивать, каково ей жилось все это время. Анна так взволновалась свиданием, что не могла произнести ничего, кроме бессвязных слов. Нина Ивановна должна была первая приняться за рассказы. И ей было о чем порассказать: дела в приюте шли теперь гораздо лучше, чем при Анне; девочки стали послушнее, прилежнее, разумнее относились к своим обязанностям. Марью Семеновну заменила другая помощница, которая умела справляться с детьми без всяких наказаний. Из девушек, считавшихся при Анне

старшими, никого не было в приюте; все они получили места горничных, нянек или швей; из средних осталось только четверо; Саша Малова и Даша ходят в швейную мастерскую, чтобы усовершенствоваться в шитье и выучиться кройке, так как с будущего года при приюте откроется мастерская, в которой они могут быть закройщицами и учительницами; Катя выдержала экзамен в учительскую семинарию; если она будет там хорошо учиться, через год ее примут полной пансионеркой, а через три года дадут ей место сельской учительницы, о котором она день и ночь мечтает. Феню Нине Ивановне хочется оставить при приюте: она стала такая разумная, аккуратная и добрая девочка, что из неё может выработаться со временем отличная помощница. Бедная, болезненная Соня умерла два года тому назад, но это была, кажется, единственная покойница в старшем отделении Сиротского дома за все это время. Из бывших при Анне маленьких Таня и Феклуша оказались настолько способными к учению, что Нина Ивановна упросила нескольких богатых барынь платить за них в гимназию и давать им денег на книги и платье. Они очень хорошо выдержали экзамен во второй класс и с будущей недели сделаются гимназистками, вместе с Любочкой, которую Анна наверно не узнает: из худенькой, плаксивой крошки она превратилась в рослую девочку, очень любящую командовать, распоряжаться, предводительницу во всех играх и главную затейницу всех шалостей… Можно себе представить, с каким интересом слушала Анна все эти рассказы. Когда пришла ей очередь говорить, она откровенно передала Нине Ивановне все, что пережила и перечувствовала в последние четыре года. В заключение, она со слезами на глазах просила ее принять под свое покровительство маленькую Лёлю.

– Конечно, я постараюсь сделать для неё все, что могу, – отвечала Нина Ивановна, тронутая судьбой бедной сиротки. – Но, Анна, разве тебе не хотелось бы самой заботиться о ней, жить с ней вместе?

– Конечно, хотелось бы, – отвечала Анна с удивлением. – Только, как же это сделать?..

– Ты жалуешься, что все люди считают тебя чужой, что у всех есть свои родные, которых они любят больше, чем тебя?! А что, если бы ты попробовала пожить с такими же безродными сиротами, как ты сама, и полюбить их? – продолжала Нина Ивановна.

– Как же это?! Опять поступить в Сиротский дом? – недоумевала Анна.

– Да, опять, только уже не воспитанницей, а воспитательницей, – отвечала с улыбкой Нина Ивановна. – Я слышала, что из младшего отделения уходит одна няня, и если я попрошу главную надзирательницу, она даст это место тебе. Работы там много, – работы тяжелой и хлопотливой: на твоих руках будет семь-восемь детей, за которыми ты должна смотреть и день и ночь; тебе придется и мыть, и одевать, и кормить их, и учить их говорить и чинить их белье, и убирать их комнату. Жалованье за все это тебе будут платить маленькое, но если ты полюбишь своих питомцев, как полюбила Лёлю, тебе не будет с ними тяжело.

– А можно так устроить, чтобы мне поручили Лёлю? – спросила Анна.

– Я и об этом попрошу надзирательницу, – пообещала Нина Ивановна.

– Милая, голубушка, попросите! – вскричала девушка, и глаза её радостно заблистали. – Мне так было тяжело думать, что выйду я из больницы и опять буду совсем одна. А там я не буду одна, там все такие же сироты, как и я, их некому любить – и они меня полюбят…

Через неделю Анна выписалась из больницы и прямо отправилась в Сиротский дом, где Нина Ивановна выхлопотала для неё обещанное место. Опять очутилась она в давно знакомых комнатах с серыми стенами и тусклыми стеклами. Главная надзирательница младшего отделения приняла ее ласково, как девушку, рекомендованную Ниной Ивановной, и, подробно объяснив ей в чем будут состоять её обязанности, ввела ее в залу, где в этот час были собраны все дети под надзором своих нянь. Анна очутилась среди полусотни мальчиков и девочек от двух до семилетнего возраста. Одни из них еще с трудом переступали на своих крошечных ножках, другие бойко бегали и задорно толкали друг друга; несколько

девочек свертели себе из тряпок подобие кукол и тихонько баюкали их; один маленький мальчуган колотил ручонкой по скамье и выкрикивал при этом какое-то слово, понятное ему одному. Анна искала глазами Лёлю, но не находила ее среди всех этих малюток с однообразно остриженными головками в темных однообразных блузах.

– У вас здесь, кажется, есть знакомая? – спросила надзирательница. Лёля Томилина, приди-ка сюда.

Как, неужели эта девочка с робким взглядом, с унылым, безучастным личиком – Лёля?.. Но вдруг лицо девочки оживилось, в глазах её блеснул луч радости.

– Ты от моей мамы! – закричала она и повисла на шее Анны.

Анна крепко, нежно прижала ее к себе.

– Ты мне рада? Ты хочешь, чтобы я с тобой осталась? – тихонько спросила она.

– Хочу, хочу! Милая, голубушка, останься! – просила девочка, прерывая слова свои поцелуями.

Анна обняла ее, приласкала других девочек, которых надзирательница подвела к ней, как её будущих питомиц, и легко, радостно стало у неё на душе. Она почувствовала, что здесь, наконец, она не будет чужой, лишней, что все эти маленькие существа чахнут без любви, без ласки, как едва не зачахла она сама, и что в сердце её найдется достаточный запас нежности, чтобы согреть и оживить сердца сирот, вверяемых её попечениям.

Младший брат

Глава I

– Как несносно ездить куда-нибудь с девочками! – недовольным голосом заметил тринадцатилетний гимназист, Митя Петровский, расхаживавший давно уже нетерпеливыми шагами по просторной столовой комнате. – Посмотри, – обратился он к младшему брату, занимавшемуся, за неимением лучшего дела, лазаньем на стол и под стол, – уже три четверти шестого; тетя просила приехать не позже шести, а они все еще изволят заниматься своим туалетом!

– Известное дело, девчонки! – вскричал Боря, шумно соскакивая со стола, – пока они наденут по десять юбок, да расправят разные кантики, бантики, – умный человек может десять раз сойти с ума от скуки.

Вероятно, чтобы предохранить себя от этого ужасного несчастья, «умный человек» готовился возобновить свои гимнастические упражнения, но в эту минуту дверь отворилась и в нее вбежала прелестная восьмилетняя девочка.

– Наконец-то! – вскричал Боря.

– Да я давно готова, это все Веру не могли причесать, как следует, – отвечала девочка.

– А ведь ты, Жени, прехорошенькая! – заметил Митя, оглядывая девочку с ног до головы.

Братья редко говорят подобные комплименты своим сестрам, но надобно заметить, что Жени вполне заслуживала лестное замечание брата. Трудно было себе представить более прелестную детскую головку, более изящную детскую фигурку. Голубое барежевое платьице как нельзя более шло к ее нежному, беленькому личику, ее ясным голубым глазкам, и длинным светло-русыми волосами.

– Ну, а я, Митя, какова? – раздался сзади нее голос, и Мите волей-неволей пришлось сравнивать двух сестер. Какая противоположность! Самый снисходительный судья не мог бы назвать бедную Верочку хорошенькой. Она была двумя годами старше сестры, и, несмотря на то, равного с ней роста; правое плечо ее было сильно поднято вверх, а правая лопатка выпячивалась назад; на длинном, худощавом лице ее очень некрасиво выдавался большой нос и широкий рот; смуглая, желтая кожа ее казалась еще желтее и смуглее от голубого цвета ее платья и от голубых бантов, украшавших ее темные жесткие волосы.

– Ты какова? – вскричал Боря, не дав брату времени ответить на вопрос сестры, – ты две капли воды похожа на лягушку!

– Гадкий! Злой мальчишка! Как ты смеешь так говорить! – закричала Вера, и сердитое выражение лица сделало ее еще некрасивее прежнего.

– Дети, дети, опять вы ссоритесь! Как вам не стыдно! – раздался кроткий голос Софьи Павловны Петровской, входившей в эту минуту в комнату вместе с мужем.

– Да, мама, Боря меня называет лягушкой; как он смеет! – тотчас же обратилась с жалобой к матери обиженная девочка.

– Борис, ты вечно дразнишь сестер, – строго заметил отец, – тебя стоит в наказание за это оставить дома!

– Ну, полно, друг мой, – успокоительно заметила Софья Павловна, боявшаяся, чтобы муж действительно не подверг мальчика слишком строгому наказанию; – он ведь это сказал в шутку, не со злости; они беспрестанно ссорятся и мирятся, – не стоит обращать на это внимания. Одевайтесь скорей, дети, – карета приехала, мы и так опоздали.

Боря, взглянув на отца, увидел по глазам его, что он не намерен противоречить матери, и в восторге, что грозившая беда миновала, быстро перекувырнулся вверх ногами, так же быстро поцеловал руку матери, и в один миг очутился в передней, куда за ним последовали все остальные.

Закутавшись в теплые шубы, теплые сапоги и теплые шарфы, семейство уселось в карету. Был второй день рождественского праздника, на дворе стоял сильный мороз, но дети не чувствовали холода; Боря с Жени находили даже, что в карете слишком душно и упросили отца позволить опустить одно стекло. Они оба были в самом возбужденном, веселом расположении духа; наперебой сочиняли разные глупости, хохотали, болтали, не умолкая ни на минуту. Митя принимал участие в их веселье, насколько ему позволяло его достоинство гимназиста второго класса. Софья Павловна с улыбкой удовольствия поглядывала на детей, и даже отец терпеливо переносил, что маленькие ножки Жени беспрестанно толкали его, а Боря чуть не сбил ему шапку с головы, бросившись смотреть на елку, зажженную в окне одного дома, мимо которого они проезжали.

Правда, детям было отчего радоваться: они ехали к своей тетке, Варваре Андреевне Баймаковой, на елку, и не только на елку, но еще на детский бал, который должен был начаться с восьми часов, когда елка погаснет. Да сих пор дети никогда еще не бывали на детских балах; они думали, что балы даются только для взрослых, и вдруг оказывается, что баловница-тетя устраивает бал для детей, – настоящий бал: с оркестром музыки, с угощением, с ужином. Тут было от чего придти в восторг, от чего было и волноваться, и радоваться!

Одна только Вера не разделяла этого веселья. Девочка сидела в углу кареты, молча и надувшись: она все еще не могла забыть обиды, нанесенной ей братом.

«Ишь как веселится! – думала она, с неудовольствием поглядывая на Борю, – как будто и не виноват! И папаша-то хорош: только пострашал, что накажет, да и забыл! А все мама заступается! Конечно, как можно наказать любимого сынка, а что он меня обидел – не беда! Вот если Женьку – другое дело, а за меня никто не заступится… Что выдумал: лягушка! Сам-то очень хорош! Настоящий…» – и сердитая девочка придумывала разные, вовсе нелестные прозвища оскорбившему ее брату.

Карета ехала очень быстро и скоро остановилась перед домом Варвары Андреевны. Варвара Андреевна была женщина богатая, веселая, щедрая, никогда не жалевшая денег для удовольствия своих трех детей: Зои, Жоржи и маленькой Ади. Племянников она также очень любила, но особенной любимицей ее была хорошенькая Жени, хотя и к остальным детям она всегда была до баловства добра.

В этот раз у нее должно было собраться довольно многочисленное общество; не считая взрослых и совсем маленьких детей, приятелей четырехлетней Ади, танцоров и танцорок от семи до семнадцати лет приглашено было человек двадцать пять.

Войдя в переднюю, Петровские тотчас заметили по веселому гулу, доносившемуся до них из других комнат, что гостей собралось уже много. И в самом деле, все приглашенные на елку съехались, ожидали только их, чтобы засветить дерево.

Митя держал себя, как следует благовоспитанному гимназисту, и, стараясь скрыть свое нетерпеливое ожидание предстоявших удовольствий, любезно раскланивался и разговаривал с гостями; зато Боря и Жени до того ясно выказывали свое волнение, что едва отвечали на поцелуи Зои и Жоржи и чуть не забыли поздороваться с теткой.

Вера была взволнована не меньше их, но к ее ожиданиям примешивалось неприятное чувство: она сразу заметила, что и тетка, и Зоя встретили Жени нежнее, чем ее, что один из гостей заметил, обращаясь к ее матери: «Какая красавица ваша Женичка!», а другой сказал про ее братьев «Как они выросли, какие стали молодцы!» О ней никто ничего не говорил, ее никто не хвалил, никто особенно не ласкал, и сердито завистливое чувство, с каким она поглядывала на других детей, еще больше портило ее некрасивую наружность.

Наконец, дверь в залу растворилась и дети веселой толпой побежали к ярко освещенному дереву. Красивая, роскошно убранная елка не удивила богатых петербургских детей; они мельком взглянули на дерево и обратили главное внимание на стол с подарками; каждый из приглашенных гостей нашел свое имя на билете, прикрывавшем или игрушку или книгу, или какую-нибудь хорошенькую безделушку. Вера прежде всех отыскала свой подарок: это была книга в красивом переплете, с хорошенькими, раскрашенными картинками. В первую минуту девочка очень обрадовалась: она любила читать, а в особенности любила рассматривать картинки; но вдруг глаза ее упали на Жени, вынимавшую в эту минуту из картонки богато одетую куклу, с длинными черными волосами, – и вся ее радость исчезла.

«Видно, что любимица: вон какую чудную куклу ей подарили!» – подумала она и, небрежно бросив книгу на стол, подошла к сестре.

Жени, в восторге от полученного подарка, бросилась всем его показывать.

– Боря! – кричала она, подбегая к своему любимому брату, – посмотри, какую прелесть мне подарили! А у тебя какая игрушка?.

– Вот выдумала – игрушка! – с презрением отвечал Боря, – точно я маленький! Тетя знает, что в мои годы игрушки уже не занимают… Посмотри, какую славную книгу она мне подарила!

Жени с недоверием посмотрела на своего мудрого брата, равнодушно повертела в руках его книгу и пошла хвастать своим сокровищем перед девочками. Вера также слышала слова Бори и они утешили ее.

«Может быть, тетя и в самом деле подарила мне книгу, а не куклу, потому, что я умнее Жени», – подумала она и снова возвратилась к своему подарку. – «А ведь Борина книга больше и толще», – опять мелькнуло в голове ее и, воспользовавшись тем, что брат ее отошел от стола, она быстро смерила обе книги: действительно, Борина была пальца на два больше и значительно толще ее. На душе завистливой девочки снова стало грустно.

Варвара Андреевна увидела недовольное выражение лица племянницы и подошла к ней.

– Ну что, Верочка, – ласковым голосом спросила она, – угодила ли я тебе? Нравится ли тебе твоя книжка?

– Борина больше! – вместо благодарности отвечала девочка.

– О книгах судят не по величине, а по тому, что в них написано, – несколько недовольным голосом заметила Варвара Андреевна и отошла от девочки, думая про себя, что у нее отвратительный характер.

Рассматриванье подарков и разговоры о них так заняли детей, что они почти не заметили, как свечи на елке догорели; надобно было приняться за обрывание с дерева конфет, и вместе с последним яблочком, снятым с ветки Жоржем, погасли и последние две свечки. Детям вдруг стало как-то грустно при виде темного, пустого дерева, и они в раздумье стояли вокруг него.

Варвара Андреевна тотчас заметила это настроение гостей своих и поспешила рассеять его.

– Ну, господа, – громким, веселым голосом произнесла она, – милости просим в столовую, напейтесь чаю и приготовьте ноги: сейчас заиграет музыка!

Дети с удовольствием последовали приглашению любезной хозяйки, и только младшие из них долго засиделись за бутербродами и сладкими печеньями, поданными к чаю; старшие же спешили допить свои чашки и вернуться в залу, откуда уже доносились звуки настраиваемых инструментов.

Бал удался, как нельзя лучше; сказать по правде, он шел не совсем так, как идут балы для взрослых; многие дамы бегали, вместо того чтобы танцевать, многие кавалеры ни за что не могли попасть в такт, приглашение на танцы часто выражалось просто дерганьем за

руку или словами: «Давай-ка, пойдем!», а в ответ нередко слышалось нелюбезное: «Ну, с тобой не хочу, ты не умеешь!»; в кадрили фигуры часто путались, а во время вальса две пары столкнулись так, что обе полетели на пол; но все это не только не мешало удовольствию, а напротив, увеличивало его. Взрослые гости любовались веселостью детей и подсмеивались над чопорными четырнадцатилетними барышнями, гримасничавшими, чтобы походить на больших девиц, и над пятнадцатилетними франтами, старавшимися казаться разочарованными мужчинами.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы все танцующие равно веселились: среди них были дети неловкие, застенчивые, которые не решались сами приглашать других на танцы, а скромно сидели по углам, ожидая приглашения, и затем неуклюже, медленно выделывали па, краснея и сбиваясь беспрестанно. К числу таких детей принадлежала и Вера: ей постоянно хотелось заслуживать одобрение, похвалы, она постоянно боялась насмешек, и потому, конечно, не могла держать себя свободно, непринужденно. Она ни за что не согласилась бы, как Жени, вальсировать по зале с куклой вместо кавалера, она ни за что не решалась, как Зоя, сама подбегать к мальчикам и звать их на танцы, а между тем к ней подходили немногие. Она была очень неловка, быстрое движение скоро утомляло ее; вечно занятая мыслью, как бы не сделать чего-нибудь смешного, она была невесела, неразговорчива, и маленькие танцоры избегали ее. Большую часть вечера сидела она неподвижно в углу, наморщив брови и завистливыми глазами следя за мелькавшими мимо нее парами. Гувернантка Баймаковых заметила невеселое выражение лица девочки и подошла к ней.

– Вы, кажется, не очень любите танцевать, моя милая, – ласковым голосом сказала она ей, – пойдемте со мной в детскую, посмотрите, как там веселятся Адя и другие дети; может быть, и вам захочется поиграть с ними. – Лицо Веры вспыхнуло; доброта гувернантки не тронула, а раздражила ее. «Жени двумя годами моложе меня да танцует с большими, – мелькнуло в уме девочки, – а меня хотят засадить в дет скую с трехлетними крошками».

– Играйте сами с Адей, если это вам нравится, – грубым голосом проговорила она, – я не уйду отсюда!

Она встала с места и отошла от гувернантки, с удивлением и жалостью поглядевшей вслед ей.

Пробираясь между танцующими парами, Вера стала за дверью в гостиную. В этом уголку никто ее не видел; она могла на свободе хмуриться, ворчать и грызть от злости свой батистовый платок.

– Жорж, – услышала она за дверью голос тетки, стояв шей у входа в гостиную, – ты забыл, о чем я тебя просила?

– О чем, мама?

– Стараться, чтобы всем гостям у нас было весело, расшевеливать конфузливых мальчиков, танцевать с девочками, с которыми другие не танцуют.

– Да я же это и делаю, мама. Я и Борю просил помогать мне. Смотри, как мы расшевелили Ваню Ланина: он прежде боялся с места встать, а теперь – видишь, как отплясывает. Вон Боря танцует с этой толстушкой, как ее? – Сашей Кузьминой, а я сейчас только посадил Глашу Ильину, она мне все руки оттянула!

– А с Верочкой Петровской отчего же ты не танцуешь?

– Ах, мама, да я ведь уже раз танцевал с ней! Она такая неповоротливая, скучная!.. С ней просто мученье!

– Не думаю, чтобы для тебя в самом деле было так тяжело доставить удовольствие бедной девочке, которая должна очень скучать, – серьезным голосом заметила Варвара Андреевна.

Жорж ничего не отвечал и пошел искать по залу свою некрасивую кузину.

Вера не проронила ни одного слова из разговора матери с сыном и положительно задыхалась от гнева. Тетка называет ее «бедной» девочкой, Жорж, – этот гадкий, отвратительный Жоржка! – смеет говорить, что танцевать с ней – мученье, смеет думать, что сделает ей благодеяние, если пригласит ее! Она вышла из своего угла и опустилась на первый попавшийся стул. Жорж тотчас же заметил ее и подошел к ней.

– Вера, пойдем танцевать, сейчас заиграют кадриль, – сказал он.

– Не хочу, – проговорила девочка, отвертываясь от него.

– Отчего же это ты? Ведь ты умеешь? Пойдем, не упрямься!

– Говорю тебе, не хочу; оставь меня в покое.

– Какая ты, право, сердитая! Вон уже заиграли! Идем скорей!

Он взял ее за руку, готовясь ввести в круг танцующих, но Вера, потеряв всякое самообладание, со всей силы ударила мальчика по лицу. Жорж поднял руку, чтобы отплатить ей тем же, но, к счастью, во время вспомнил, что перед ним слабая, болезненная девочка.

– Злючка! – сквозь зубы проговорил он и поспешил отойти от рассерженной девочки.

Поступок Веры заметили многие; через несколько секунд, говорили о нем в зале и в гостиной. Взрослые с сожалением поглядывали на Софью Павловну, понимая, как тяжела была эта история для материнского сердца. Дети были безжалостны к маленькой преступнице: они делали вид, что боятся ее, нарочно отбегали от нее подальше, и в то же время смеялись над ней, награждали ее разными нелестными прозвищами. Вера, вне себя от гнева, бранила всех и готова была даже драться; к счастью, встревоженная Софья Павловна поспела вовремя, чтобы удержать ее. Она сразу заметила по взволнованному лицу девочки, что всякие расспросы и увещания напрасны.

– Вера! – серьезным, почти строгим голосом сказала она. – Иди скорей одеваться: горничная тетеньки отвезет тебя домой.

Девочка не сопротивлялась, она даже рада была скорей уйти из этой ярко освещенной комнаты, где она испытала так много неприятностей от этих смеющихся, нарядных детей, готовых безжалостно замучить ее своими насмешками.

И вот, кончился для нее веселый праздник, о котором она мечтала не меньше других, к которому она готовилась всех усерднее и суетливее. Он кончился и не оставил в душе ее ни одного из тех светлых воспоминаний, которые после всякого такого праздника надолго красят и веселят однообразную будничную жизнь. Напротив, ей было так грустно и тяжело, что только стыд перед чужой горничной заставлял ее сдерживать рыдания, душившие ее во все время дороги домой. Дома она ничего не отвечала на расспросы при слуги, удивлявшейся, что барышня вернулась одна и так рано. Она поспешила раздеться, сердитым голосом приказала горничной унести свечу и, оставшись на постели в темноте, вполне предалась своим чувствам. Сначала она била кулаками подушку и одеяла, в бессильном гневе не только против Жоржа и других детей, обидевших ее, но и против тетки, против родителей, против братьев, против гувернантки и против ни в чем не виноватой Жени. Мало по малу гнев ее затих и заменился горьким сожалением о себе, о своей несчастной судьбе… «И отчего это я не такая, как другие, – думала бедная девочка, обливаясь слезами, – отчего я не такая хорошенькая, как Жени, отчего никто меня не любит, все меня обижают, все смеются надо мной! Даже мама не так ласкает, как других: других она называет „моя радость“, „мое сокровище“, а мне всегда говорит „Моя бедная девочка!“ Несчастная я, несчастная!»

Когда остальная семья вернулась домой, Вера спала тяжелым, тревожным сном. Андрей Андреевич очень сердился на свою старшую дочь и всю дорогу уверял, что примерно накажет ее; но когда Софья Павловна подвела его к кроватке девочки и указала ему на ее жалкую, худощавую фигурку, разметавшуюся на постели, на ее бледное личико, опухшее от слез, ему стало жаль ее и он тихо прошептал:

– Бедняжка! Она довольно наказана!

Глава II

Те тяжелые часы, которые Вера провела, рыдая на своей постельке, пока ее братья и сестра веселились на вечере, были не первыми горькими часами в жизни девочки. Рано, очень рано начала она сравнивать себя с другими детьми, завидовать их преимуществам, мучиться своими недостатками.

Она родилась слабым, болезненным ребенком. Трех лет она едва могла ходить на своих тоненьких, кривых ножках; на шестом году кривизна ее спины стала заметна и увеличивалась с каждым годом; росла девочка очень медленно, желудок ее переваривал слабо, беспрестанно приходилось держать ее на самой строгой диете. А между тем, в одной с ней комнате жили ее братья – сильные, здоровые мальчики. Ей хотелось гулять вместе с ними, принимать участие в их играх, есть столько же, сколько ели они, а все это было для нее невозможно.

– Отчего же Митя и Боря идут, а мне нельзя! – плаксивым голосом говорила она, видя, как братья торопились надевать свои кафтанчики, чтобы идти в морозный зимний день.

– Отчего же ты Мите и Боре дала гостинца, а мне нет? – приставала она к матери, боявшейся лишним лакомством расстроить и без того слабый желудок болезненного ребенка.

– Они больше тебя, они мальчики! – говорила мать в утешение ей. И это отчасти утешало девочку. Она также вырастет, тогда и она будет бегать, гулять, есть гостинцы, как братья; мальчиком она, правда, не сделается, но это не беда, – няня говорит, что зато она будет носить хорошенькие платьица и шляпочки, каких мальчики не носят. Дело пошло хуже, когда подросла маленькая Жени. Живая, резвая девочка, несмотря на разницу лет, могла участвовать почти во всех удовольствиях братьев. Теперь уже нельзя было говорить Вере, что должна сидеть одна в комнате или довольствоваться вместо трех двумя кушаньями за обедом, потому что она «девочка», потому что она «маленькая». Другая девочка, еще меньше ее, пользовалась тем, в чем ей отказывали, и это на каждом шагу возбуждало в ней чувство самой мучительной зависти.

«Да отчего же Жени? Я хочу, как Жени! Дай мне, Жени!» – беспрестанно слышался ее то жалобный, то сердитый голос. Мать пробовала кротко объяснять ей, что не все дети равны, что Жени здоровее ее, что вещи, которые очень полезны для Жени, могут повредить ей, и т. д. Она была еще слишком мала и глупа, чтобы понимать такие рассуждения; она отвечала на них припадками гнева, топала ногами, отталкивала мать и часто старалась вымещать досаду на сестре, ни в чем не виноватой. Она ломала игрушки Жени, портила ее вещи, дразнила ее. Жени, конечно, не сносила этого терпеливо: она плакала, жаловалась няне или матери, Веру бранили, наказывали, и это еще больше раздражало девочку. С братьями она также беспрестанно ссорилась: они были мальчики не злые, вовсе не хотели обижать сестер, но, как почти все дети, не понимали и не умели щадить чувств других; они удивились, отчего Жени весело смеется, когда ее называют «большеглазая», «стрекоза», а Вера плачет и злится при слове «горбунья», черепаха неповоротливая. Им казалось вполне естественным не допускать к участию в своих играх сестру, которая бегала очень тихо, задыхаясь, которая не умела ни лазать, ни скакать, до которой нельзя было пальцем дотронуться, чтобы не услышать тотчас: «Пожалуйста, осторожнее с Верой! Не толкните Веру! Не ударьте Веру!», и которая сама пищала и целый час плакала от самой, по-видимому, незначительной боли. Они не понимали, с какой горечью следила бедная болезненная девочка из своего уголка за их веселыми, шумными играми, с какой горечью глядела она на их оживленные, раскрасневшиеся лица, когда они возвращались с далекой прогулки; они возмущались, когда на их рассказы об испытанных удовольствиях она отвечала грубо и сердито; они убегали от нее, бросая ей какое-нибудь насмешливое прозвище, еще более увеличивавшее ее озлобление. Мать отчасти понимала тяжелое положение девочки и старалась, как умела, помочь ей, но

она не могла много заниматься ею. После Жени у нее родилось еще два мальчика и девочка. Они, как и все малютки, требовали от матери самого тщательного ухода; но, несмотря на ее заботы, умирали рано, после продолжительных болезней. Отец не занимался воспитанием детей; слыша шум и ссоры в детской, он входил туда только для того, чтобы наказать виновных, и виноватой почти всегда оказывалась Вера. Он наказывал ее, возмущался рассказами о ее злости, находил, что с ней надо обращаться строго, начинал муштровать девочку. Она не поддавалась, плакала, злилась и, в конце концов, заболевала. Тогда отцу становилось жаль ее, он ее ласкал, грозил строго расправиться со всяким, кто обидит ее, покупал ей игрушек. Вера пользовалась этой слабостью отца и начинала распоряжаться в детской как маленький тиран. Нянькам, братьям, сестре, прислуге – всем доставалось из-за нее, и все, конечно, пользовались случаем отомстить ей, когда проходил прилив отцовской нежности.

Так шло детство девочки: в постоянной борьбе с окружающими, в постоянной зависти и злобе. Она не любила ни братьев, ни сестру, и они платили ей тем же; прислуга и няньки тяготились ею, тяготились той лишней работой, и какую надо было делать для нее, как для ребенка болезненного, и теми неприятностями, какие приходилось терпеть от ее дурного характера. Отец и мать смотрели на нее не с радостной надеждой, как на других здоровых детей, а с грустью и жалостью.

Вере было семь лет, когда у детей сделалась скарлатина. Митя, Боря и Жени поправились быстро, но у Веры и младшего двухлетнего братца ее болезнь приняла серьезный оборот. Малютка не вынес ее и умер, а Вера медленно поправлялась. Лежа на постельке, с закрытыми от слабости глазами, девочка слышала, как в соседней комнате мать рыдала над телом своего младшего любимого сына.

– Полно, не сокрушайся так, – утешал ее отец: – мы должны радоваться, что хотя остальные дети живы!

– Да отчего же именно он умер! – плакала мать, – он был такой славный ребенок, так радовал меня! Уж умерла лучше бы Вера: она все равно вечно болеет!

Слова эти, – необдуманные слова, нечаянно вырвавшиеся у огорченной матери, – легли тяжелым камнем на сердце бедной девочки. До сих пор, замечая, что мама ласкает ее чаще, чем других детей, и заботится о ней больше, чем о других, она считала себя ее любимицей, и это утешало ее. «Пусть папа и няня, Митя и Боря больше любят Жени, – думалось ей, – зато мама любит меня больше всех!» И в те немногие добрые минуты, когда ничто не раздражало ее, когда она, как всякий ребенок, чувствовала желание любить и быть любимой, она доверчиво шла к матери и со страстной нежностью отвечала на ее тихие ласки. Теперь это кончено! Она узнала, что мать не любит ее, что мать заботится о ней, ласкает ее только из жалости, как она один раз из жалости приласкала больного щенка, выброшенного на лестницу.

Вера никому не намекнула на услышанные ей случайно слова, на страдания, причиненные ей этими словами, но в ту же ночь с ней сделался сильнейший жар. Она целую неделю была на краю гроба и, по словам доктора, только чудом осталась жива. Выздоровление ее шло очень медленно, а когда она снова вернулась в круг детей, все заметили, что стала больше прежнего дика и молчалива, что она еще меньше выказывает дружелюбия к окружающим и что она странно чуждается матери.

«Я знаю теперь, что никто меня не любит, – думала девочка, сердитыми глазами глядя на окружающих, – ну, что же? – и я никого не люблю и не хочу любить, а все-таки я мамина дочка, она должна делать для меня все то, что делает для Жени». И девочка зорко следила за всеми поступками матери и окружающих, готовясь каждую минуту защищаться от тех, по большей части воображаемых, несправедливостей, которые они делали относительно ее.

– Мама, отчего же вы купили Жени новое платье, а мне нет? – спрашивала она, видя, что мать кроит только одно платье.

– Жени перепачкала свое розовое платье, а твое еще совсем хорошо, ты надевала его всего один раз.

– Ну, так что же? Если я ношу платья бережливее чем Жени, так пусть у меня и будет больше. Нет, мама, непременно купите и мне такое же!

– Полно, Верочка, для чего же покупать лишнее! Когда тебе понадобится платье, я и тебе куплю.

– Нет, мне надо теперь, вместе с Жени! Вы ее больше любите, оттого и делаете ей больше чем мне.

И девочка начинала рыдать и не успокаивалась до тех пор, пока мать не уступала ее просьбам.

– Папа, вы дали братьям по целому яблоку, отчего мне половину? – приставала она к отцу.

– Оттого что яблоки тебе вредны.

– Я съем половину, а вы мне все-таки дайте целое. А с другой половиной сделаю, что хочу…

Отец, не любивший возни с детьми, давал ей яблоко и она выбрасывала половину его за окно только для того, бы иметь удовольствие чувствовать, что ей дано не меньше чем другим.

Похвалы красоте и грациозности Жени возмущали ее.

«И ничего в ней нет такого особенного, – думала она иногда, рассматривая в зеркале свое собственное некрасивое лицо; она, правда, беленькая, но зато у меня глаза больше и брови гуще; мама лучше наряжает ее, оттого она и кажется красивее». И девочка внимательно следила, чтобы мама не надела ни лишнего бантика, ни лишнего кусочка кружев на ее меньшую сестру.

Легко себе представить, что при таком характере Веры жизнь в детской Петровских шла далеко не мирно, особенно если прибавить к этому, что Митя был очень самолюбив и, требовал от младших уважения к себе, как к старшему. Боря любил дразнить и насмехаться, а Жени плакала при и всякой неприятности и бежала под крылышко кого-нибудь из старших.

После детского бала, так несчастно окончившегося для Веры, ссоры детей еще более усилились. Родители Веры, видя заплаканное личико девочки ночью и ее бледность на другой день, думали, что она получила довольно тяжелый урок и не упрекали ее за ее вспыльчивость; но дети не оставляли ее в покое. Они приставали к ней с расспросами, с насмешками, повторяли, что говорили про нее другие гости, при всяком удобном и неудобном случае вспоминали о ее несчастном приключении и быстром удалении с бала. Вера из себя выходила от гнева, осыпала всех бранью и оскорблениями, доходила до того, что, несмотря на свое бессилие, начинала драку. Жени с писком и слезами бежала жаловаться отцу или матери, братья сами расправлялись со «злюкой»; вместо смеха и веселых игр, в доме беспрестанно слышались крики, бранчивые голоса, слезы.

– Это просто нестерпимо! – вскричал один раз вечером Андрей Андреевич, нарочно уславший детей пораньше спать, чтобы избавиться от неприятного шума, – везде дети ссорятся, но уже так, как у нас – нигде! Надобно положить этому конец!

– Что же ты думаешь сделать? – с тревогой спросила Софья Павловна.

– А вот что: с нового года засадить их вплотную за книги, да с осени и отдать всех в гимназии. Пусть девочки поступят хоть в подготовительный класс, все равно – только бы заняты были!

– Что же, это отлично! – согласилась Софья Павловна. – Боря очень балуется дома, ему осенью будет почти двенадцать лет – пора, мы и Митю двенадцати отдали в гимназию; для Жени это также будет полезно: пусть приучается трудиться, да меньше думать о нарядах; только насчет Верочки не знаю: она такая слабая…

– Ничего: меньше будет злиться, так скорей поздоровеет.

– Пожалуй, что и так.

На другой день детям было объявлено решение отца. Боря приуныл: он видел, как усиленно занимался его старший брат, как часто проводил над книгами целые вечера и целые праздничные дни, как редко можно ему было пошалить; и погулять, – такая жизнь казалась ему мало привлекательной. Девочки, напротив, были очень довольны. Жени радовалась тому, что попадет в многочисленное общество подруг; гуляя, она часто встречала толпы девочек, возвращающихся с сумочками и саквояжами в руках из училищ; идти в этой толпе, знать, о чем они так весело болтают, так громко смеются, представлялось ей в высшей степени приятным. Веру тоже манило в гимназию, главным образом, общество, которое она там встретит: там так много и детей, и больших, они еще ее не знают и не думают о ней ничего дурного; может быть, она понравится им, они полюбят ее… Она и там будет стараться все делать лучше, чем Жени, и учиться прилежнее, и вести себя скромнее; ее будут хвалить, папа и мама увидят, как они несправедливы, считая ее хуже Жени, им станет стыдно, и Мите, и Боре, и всем, кто теперь смеется над ней, станет очень, очень стыдно.

С нового года детям пришлось, как и сказал Андрей Андреевич, засесть за книги. До сих пор Боря учился у учителя только три раза в неделю, и учился, надобно сознаться, довольно лениво. Резвый, живой мальчик очень любил чтение, особенно чтение путешествий и всевозможных опасных приключений на суше и воде, но учебники возбуждали в нем непреодолимую зевоту. Девочки понемножку занимались с матерью: Жени казалась еще слишком маленькой, и Софья Павловна находила, что рано начинать серьезно учить ее. Верочка часто хворала. Почти играя, мать выучила их читать, писать буквы, считать; до сих пор они не знали, что значит готовить заданный урок или сидеть за книгой, когда хочется поиграть. Теперь дело пошло иначе: учитель стал ходить к Боре каждый день; кроме того, мальчик должен был еще брать уроки у учительницы, которая аккуратно два часа в день занималась с его сестрами. Дети, особенно Боря, присмирели. Андрей Андреевич отчасти достиг своей цели; в детской слышалось меньше шума и ссор. Учительница находила, что Вера внимательнее и прилежнее сестры, и часто хвалила ее. Это подстрекало самолюбие девочки: она по целым часам просиживала за книгами и, ответив урок лучше Жени, чувствовала себя счастливой, меньше злилась, меньше обижалась. Среди занятий время шло для детей очень быстро. Незаметно пролетело полгода, лето близилось к концу, а с тем вместе приближался и день вступительного экзамена. Боря должен был экзаменоваться в первый класс мужской гимназии, обе девочки – в подготовительный класс женской. Учительница твердила, что Вера смело могла бы поступить и в седьмой класс, но Софье Павловне хотелось, чтобы учение давалось как можно легче слабенькой девочке: она все боялась за ее здоровье, и потому уговорила ее поступить в один класс с сестрой.

– Не беда, что первое время тебе будет легко, – убеждала она ее: – зато ты можешь отличиться, сразу стать первой в классе.

«И выше Жени» – мысленно договорила Вера, и это соображение заставило ее согласиться.

Глава III

Настали первые дни августа, а с ними и страшные для детей экзамена. Восьмого числа назначен был экзамен в мужской гимназии, куда должен был поступить Боря; девятого – в женской, куда собирались девочки, Боря сильно храбрился, и на все вопросы домашних: «что, страшно, боишься?», отвечал смехом и уверениями, что не чувствует ни малейшего страха. Андрей Андреевич сам повез его в гимназию; остальная семья с нетерпением ожидала их возвращения. Даже Вера забыла на время думать о самой себе и не завидовала тому, что мама все говорит и заботится об одном Боре.

В четыре часа раздался резкий звонок; дети выбежали в переднюю. При первом взгляде на лица вошедших видно было, что дело неладно. Андрей Андреевич смотрел строго и сердито, Боря был бледен и сконфужен.

– Ну, что? – нетвердым голосом спросила Софья Павловна.

– Да то, чего я и ожидал! – резко отвечал Андрей Андреевич, шумно входя в столовую: – я всегда говорил, что это негодный лентяй! Срезался на всех предметах! Из русского получил двойку, из закона Божия двойку, из арифметики учитель прямо мне сказал, что он ничего не знает…Что мы теперь будем с ним делать? В мастерство его отдать какое-нибудь? Так ведь и там лентяев не потерпят! Пастухом его сделать, свинопасом – он ни на что другое не годен…

Во время всей этой сердитой речи отца, Боря стоял молча, опустив голову, видимо с большим трудом удерживаясь от рыданий. Софья Павловна понимала, как страдал бедный мальчик, как тяжело был он наказан за свою леность и беспечность, но она не хотела приласкать его, выказать ему сочувствие, чтобы еще больше не раздражить мужа.

Митя и девочки также присмирели и с состраданием поглядывали на брата. Горничная, вошедшая объявить, что обед подан, положила конец тяжелой сцене. Молча, грустно сидели все за столом. Жени попробовала было заговорить о чем-то постороннем, но строгий взгляд отца заставил ее прикусить язычок.

– Вот посмотрим, что-то завтра вам будет, – заметил Андрей Андреевич, когда девочки подошли благодарить его за обед, – пожалуй, также осрамитесь!

И слова эти пробудили в них на время забытый страх.

– Верочка, давай учиться, я все нетвердо знаю молитвы, – шепнула Жени.

И обе девочки уселись, с книгами в руках, в уголке детской.

Софья Павловна сама хотела везти их на экзамен, но, как нарочно, у нее с утра сильно разболелась голова и им пришлось ехать с отцом, что еще более усиливало их тревогу: руки Веры дрожали до того, что она едва могла за стегнуть пуговку своей кофточки, у Жени побелели не только щечки, но даже губки.

– Бедные деточки, они волнуются! – вздыхала Софья Павловна, – будет ли им удача… – И забота о детях еще больше увеличивала ее боль. К счастью, ей пришлось ждать недолго. Во втором часу Митя с радостным лицом вбежал к ней в комнату.

– Идут, мама, – кричал он: – и, должно быть, все сошло хорошо! Папа веселый, несет коробку, кажется, с конфетами!

Через две минуты девочки, запыхавшись от скорой ходьбы и волнения, уже обнимали мать. По их радостным, оживленным лицам видно было, что страшный экзамен окончился благополучно.

– Выдержали? Ну, как я рада! Рассказывайте же, рассказывайте подробно, как все было? – спрашивала мать, целуя и лаская их.

– Сегодня можно рассказывать, – заметил Андрей Андреевич, также входя в комнату жены, – хоть девочки не осрамили нас: Жени очень мило читала и по-русски, и по-французски, по-немецки немного сбивалась, но учительница похвалила ее за хороший выговор, в

счете она также сплоховала, но это, говорят, ничего; а Вера так просто отличилась. Начальница говорит, что она без труда могла бы поступить и в седьмой класс, – все ею восхищались.

– Умница, Верочка, поздравляю! – и мать еще раз нежно поцеловала обрадованную девочку.

Этот день был днем торжества для Веры: ее хвалили, ласкали, отец беспрестанно называл ее «своей умницей», гостям, приехавшим к обеду, рассказали о ее успехе, братья и Жени не только не смеялись над ней, а напротив – относились к ней с каким-то уважением; даже прислуга смотрела на нее приветливее, услуживала ей охотнее обыкновенного. Девочка краснела, глаза ее сияли торжеством, она не опускала головы, не хмурилась, не подозревала в каждом слове оскорбления, глядела смело и бодро, охотно прислушивалась к разговорам гостей, беспрестанно ожидая чего-нибудь для себя лестного. Одно несколько нарушало ее праздничное настроение: ей казалось, что мать слишком холодно относится к ней, слишком мало сочувствует ее торжеству. На самом же деле Софья Павловна была от души рада, что на долю ее бедной, обиженной природой, девочки выпал счастливый день; ей приятно было думать, что у Веры, может быть, разовьется любовь к умственному труду, что-то умственное превосходство, которое она приобретет, поможет ей победить неприятные стороны ее характера, заставит окружающих забыть о ее физических недостатках. Она с любовью глядела на сиявшее лицо девочки, на ее небывалое оживление…Но еще более нежности чувствовала она, когда глаза ее обращались на грустного, униженного, подавленного своей неудачей Борю. Куда девалась вся бойкость, вся неугомонная резвость, вся шумная веселость бедного мальчика! Он сидел неподвижно, бледный, молчаливый, едва поднимая глаза, односложно отвечая на все вопросы, с которыми к нему обращались. А Андрей Андреевич, как нарочно, во всех похвалах Вере делал колкие намеки на него, сравнивал их рост, здоровье, время, когда они начали учиться, говорил о том, какое мученье иметь сыновей, как много хлопот и как мало радостей доставляют они, спрашивал, не знает ли кто-нибудь такой должности, на которую нужны лентяи, и так далее и тому подобное.

Мать понимала, как болезненно отзывались все эти слова в сердце чувствительного мальчика; она не могла вполне радоваться радостью одного ребенка, когда подле нее страдал другой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.